Ирина Уварова

Даниэль и все все все

Издательство Ивана Лимбаха

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга воспоминаний вдовы известного писателя Юлия Даниэля охватывает период 1960-х–1980-х годов. В годы «застоя» театры, художественные мастерские, журналы стали центрами притяжения интеллигенции. Одним из таких журналов был «Декоративное искусство СССР», где работала в те годы Ирина Уварова. Она вспоминает о процессе Синявского – Даниэля, о круге художника Бориса Биргера (Булат Окуджава, Владимир Войнович, актеры Театра на Таганке), о Сергее Параджанове, о Михаиле Бахтине, о театральных экспериментах той поры. Ирина Уварова – художник-постановщик, искусствовед, теоретик театра. В середине 1980-х годов вместе с Виктором Новацким способствовала возрождению традиционного кукольного вертепа; в начале 1990-х основала журнал «Кукарт», оказала значительное влияние на эстетику современного кукольного театра.

- Ирина Уварова
  - ○
  - ○ I. Юлий
    - ■ «К перевоплощению не годен»
    - ■ «С тех пор на Руси пошли Даниэли»
    - ■ «Что я могу для вас сделать?»
    - ■ «Молодой-красивый, дай погадаю»!
    - ■ Неслучившаяся ссора
    - ■ «Таких не знали небеса»
    - ■ «Ах, медлительные люди!»
    - ■ Рифмы судеб: Окуджава и Даниэль
    - ■ И было море
  - ○ II. Группа риска
    - ■ О Михаиле Михайловиче Бахтине
      - ■
      - ■ Первая встреча
      - ■ На станции Гривно
      - ■ Испытание пряником
      - ■ В Москве
      - ■ Еще про кошек
      - ■ Конец
    - ■ Золотая свадьба
    - ■ «За иностранцем»
    - ■ Чужая собака
    - ■ Аркадий Белинков
    - ■ Круг Биргера

        - Домовой в чемодане
        - Сент-Женевьев-де-Буа, обитель русской печали
        - Если не дают чаю
    - III. Синие кошки
        - Яблоко, рыба, яйцо
        - После спасения
        - Бегемот в лифте
            -
            - Царица Лиля
            - Мой дом – Сурамская крепость
        - «Осталось дописать синих кошек»
    - IV. Но по пути мне вышло с фраерами
        - Покровский – человек дождя
        - Питер Шуман – большой шаман
        - Мой невозможный друг Новацкий
        - «Роман» с Асарканом
        - Милый мой Вертман
        - «А когда вы будете говорить о Даниэле?»
    - Фотографии
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24

Ирина Уварова
Даниэль и все все все

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Благодарю Галину Ваншенкину, Ингу Розовскую и Леонида Невлера за помощь в подготовке книги к изданию

На контртитуле (слева направо): Софья Смык-Крутинская,

Ирина Уварова, Юлий Даниэль, Павел Уваров

На обложке рисунок автора

© И. П. Уварова, 2014
© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2014
© Издательство Ивана Лимбаха, 2014

Как современник, я стараюсь припомнить события. Но как современник, не могу гарантировать непредвзятости в выборе значительных явлений. Да и вообще, какая может быть объективность по поводу собственной жизни?

– Слушай, а если Софья Власьевна копыта откинет – что будет?

– Да хорошо будет! Не сомневайся.

Никто и не сомневался.

Нужно ли объяснять молодому поколению, что это была подпольная кличка Советской Власти? Конспирация, так сказать. Но от кого, спрашивается, конспирация, если самый тупой филер, таскавшийся за нами, знал, кто такая Софья Власьевна?

Она была омерзительной старухой, эта СВ, да и вредной к тому же. Мы ее ненавидели. Мы потешались над ней. Мы надували ее. Не боялись, игнорировали – ее же. Но наша жизнь крутилась вокруг нее, и с этим ничего нельзя было поделать. Она занимала огромное место в пространстве тоже огромном – рыхлое чудовище, и «лаяй», как написано у Радищева – он в чудищах толк понимал.

Но и мы числились в этом пространстве, мы были прописаны на ее площади, и это ее раздражало.

Нас тоже.

Но кого это – нас?

На заре шестидесятых начинала просыпаться личность. Личность как таковая. Простое «я» выходило из сталинского наркоза. Свое «я» каждый из нас начинал выдирать из монолита державы, кто как умел; мы учились думать.

Я существую, следовательно, мыслю, и прошу заметить – мыслю критически.

В 1967 году Любимов поставил «Галилея» Бертольда Брехта. Там был Маленький Монах, Галилей ткнул его мордой в телескоп, чтобы тот понял, что мироздание устроено иначе, чем полагают маленькие монахи.

Мы заглянули тоже – и узнали, что Земля, на которой каждый из нас догадал родиться, крутится как окаянная вместе с другими планетами, а СВ может сидеть себе по-прежнему в

обнимку с Птолемеем, утирая злобные слезы подолом железного занавеса. Занавес уже начинал ржаветь, скрипеть, местами крошиться, так что европейский мир мог с любопытством и опаской сквозь каверны в железе заглядывать к нам.

А мы выглядывали туда.

* * *

В 1955 году я, отчаянно труся, спускалась в арбатский подвал, чтобы выслушать замечания официального оппонента по университетскому диплому. Оппонент оказался снисходителен к моему неумелому опыту. Тема была ему близка: миссия лирического поэта, добровольное принятие креста, обреченность и жертвенность – «За всех расплачу́сь, за всех распла́чусь» (М. Цветаева).

Одну линию лирики Маяковского, сказал он, следовало бы развить: печаль, смятение перед неминуемой Голгофой – помните, как сказано: «Господи, пронеси мимо чашу сию!»

Оппонентом был Андрей Синявский.

Где же мне было знать тогда, что он уже затеял опасную игру и, приняв крест, понимал, что чаша его не минует. В чаше плескалась лагерная баланда.

Андрей Синявский, а следом и Юлий Даниэль (псевдоним Николай Аржак) освобождались от цензуры внешней, печатались за рубежом. Тут был простор, и можно было бы увидеть сложные конфигурации, составленные из личности и маски, из «я» и «не я», когда б не Уголовный кодекс, настроенный враждебно к играм и иносказаниям.

Их выследили, арестовали. Впервые на скамье подсудимых оказались писатели и их книги.

В повестях Даниэля личность постигает науку отчуждения от покорной подслеповатой массы. Его герои имели человеческие слабости и мужскую силу необученного духа. Самодеятельным путем они осваивали понятия добра и зла, ржавевшие за ненадобностью, и принимали личную ответственность за злодеяния века, их миновавшие.

По тем временам все это оказалось крамолой.

В 1966 году состоялся открытый суд. Под аплодисменты и улюлюканье в печати Синявского и Даниэля приговорили к лагерям строгого режима.

После суда история передала дела в руки людей. Когда учиняли судилище над Пастернаком, в его защиту не прозвучало ни одного

слова, вслух, по крайней мере. Но как мало понадобилось времени для того, чтобы столько людей заговорило, письменно и устно, когда дело дошло до суда над нашими писателями.

Люди, с которыми меня свела судьба в шестидесятые годы, принадлежали к той российской интеллигенции, которая всегда умудрялась мыслить критически и чувствовала, что не все спокойно в Датском королевстве. Точнее, совсем неспокойно. Но контуры нового «клана» обозначились более-менее четко, собственно, когда были арестованы Синявский и Даниэль. После этого суда «клан» стал расти, развиваться все более раскованно, все более рискованно и обрел имя Инакомыслящих.

Подспудные брожения умов привели в конце концов к тому, что теперь обоих подельников печатают без всякой цензуры.

I. Юлий

Сердце радоваться радо
за тебя. Ты всё успел,
что успеть в России надо —
воевал, писал, сидел.

Фазиль Искандер

«К перевоплощению не годен»

Достанься судьба Юлия Даниэля кому-нибудь другому, она считалась бы трудной и трагичной. Только Юлий так не думал. Напротив, был уверен: ему везет. Ни о чем не жалел за единственным исключением – что не стал актером.

После фронта в Щепкинском театральном слетел со второго тура, хотя голос имел глубокий и прекрасный, а стихи лучше, по-моему, вообще никто не читал. Но простота и естественность его были так органичны, что чей-то опытный театральный глаз определил: к перевоплощению не годен. Он был равен самому себе. Главным для него было слово. Он был приговорен к литературе.

Но когда после пединститута они с первой женой, Ларисой Богораз, работали в райцентре Людиново, в школе, не выдержал молодой учитель – поиграл в школьной самодеятельности.

И уже в московской послелагерной жизни просил друга режиссера сделать ему какой-нибудь грим, интересно же посмотреть, что получится. Еще ему хотелось как-нибудь примерить фрак, но этого не случилось. Зато был ему подарен старинный цилиндр. Цилиндр был грациозен, как негр, и однажды пущен в дело. Художник Борис Биргер созвал друзей на костюмированный новогодний вечер, Юлию был собран костюм поэта минувшего века. Успех был бурный – девятнадцатый век вошел в комнату под руку с Юлием под аплодисменты. Что же касается цилиндра, то он вызвал откровенную зависть, и Юлий всем дал его немножко поносить. Пришелся убор не Копелеву, не Войновичу и не Сахарову, а конечно же, Непомнящему, пушкинисту. Костюмированные кто-во-что-горазд гости веселились, как дети на елке.

Между тем за порогом праздника многих стерегла беда. На дворе стояли семидесятые годы, за кем-то шла слежка, кому-то звонили ночью с хриплыми угрозами, кого-то в скором времени поджидали гонения и изгнания. Но умел Биргер в ту напряженную пору учинить праздник-противостояние. Так отчетливо помню этот «бал моделей» (он всех их писал), потому что маскарадная роль Юлия тонко осветила его врожденное благородство и оттенила легкость угловатых движений. «Живая картина» отразила его сущность.

Ему всегда было что противопоставить происка действительности. Кромешному судилищу – гибкую шпагу острого ответа, непролазной лагерной серости – цветную открытку на тумбочке. Оттого он так восхищенно чтил людей

театра, что угадывал древнюю тайну их ремесла: противостояние. Все-таки в подлинной театральной душе спрятан гистрион, одиноко выходящий на бой с косной материей бытия, вооруженный лишь репликой и дурацкой маской.

Он актеров любил, артистками восхищался, с театральными художниками дружил, вот только опасался их вольностей в адрес драматургии – я же говорю, слово было главным.

Слово – рядом с ним, в нем, а театр – «там». В детстве дома он увидел гостей: Михоэлса и Зускина. «Знаешь ли, совсем близко видел!» Это надо было слышать: то есть так близко, как не бывает. В том смысле, что рядом с чудом, отгороженным заветной рампой, простой смертный мог оказаться лишь в случае невероятного везения.

Но он видел их, великих актеров, и в театре тоже. Тут повезло очень: связь с театром устанавливалась не простая зрительская, а кровная. В ГОСЕТе ставили пьесу его отца, Марка Даниэля, «Соломон Маймон». Соломон – Зускин, Михоэлс – постановщик. Декорация Фалька.

Другим кровным театром был Центральный детский, там шла другая пьеса отца – «Изобретатель и комедиант». Как-то мы оказались в этом театре. Юлий рассказал, сколько раз он ходил на спектакль и как чудесна была Агнесса, канатная плясунья, играла ее Коренева. Нам показали летопись театра, автором «Изобретателя» значился Михалков. По ошибке, конечно. Только писательская судьба знает подобные ошибки: имя Марка Даниэля исчезло, как не бывало. Он умер, не успев разделить кровавую участь своих товарищей. Когда же начали всплывать из небытия имена убитых еврейских писателей, память о Марке Даниэле наглухо перекрыло скандальное судебное дело сына.

И уж если на этих страницах я хожу вокруг театра, настало время сказать, что Юлию Даниэлю выпала роль. Трудная роль самого себя. Но ведь именно так и было: «Гул затих. Я вышел на подмостки». Или нет, не так, совершенно не так, и зал не зрительный, а судебный, и гул не затихал, и вышел на подмостки, потому что дали последнее слово подсудимого.

Я хочу, чтобы вы услышали это слово, сказанное 14 февраля 1966 года. Я хочу, чтобы услышали сейчас, когда уже широко известно многое, что позорно замалчивалось тогда, когда «оттепель» уже испарилась.

Поведи себя Синявский и Даниэль на открытом суде иначе, признай они обвинения праведными, а себя – виновными, кто знает, как повернулось бы сегодня неверное, старое как мир колесо истории.

Даниэль: Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов <…>. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского – «…чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали…» – почему, цитируя эти слова, писатель не вспомнил другие имена – или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других. Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилий? Но тогда, может быть, литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеко вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Косиора, Гамарника, Якира… Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях – так надо понимать утверждение, что «не убивали»? Так как же все-таки – убивали или не убивали? Было или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали – это оскорбление, простите за резкость, плевок в память погибших. Судья: подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбление не имеет отношения к делу».

Когда Юлий умер, Мария Валентей, внучка Мейерхольда, сказала: «Думайте о том, что он умер на ваших руках, а мой дед был совсем один в ночь перед расстрелом. Приговор он уже знал».

Какая странность нашего удела, мы и смерть равняем казни, и это так.

Послушайте, это так.

«С тех пор на Руси пошли Даниэли»

Родители его были необыкновенны. Уж во всяком случае мать. Минна Павловна.

Если книга интересная, обед не готовила.

– Юлик, тебе обедать не хочется? А то там сосиска…

Иногда спохватывалась проверить школьные знания.

– Ну-ка, что вам задали на завтра?

– На завтра нам задали про земляного червя.

– А ну, расскажи!.. Вот молодец! Ну, иди играй, а я почитаю, такая интересная книжка!

К слову сказать, она работала библиотекарем, что подкармливало и страсть к чтению. А на другой учебный год вдруг опять:

– А ну-ка, расскажи, что вам задали на завтра?

– На завтра нам задали про земляного червя!

Но школу Юлий все же навещал, и по дороге в Большевистском переулке задирал голову, чтобы приветствовать каменного рыцаря в нише старого доходного дома. И успевал отдать честь, трижды топнув по решетке водостока. Мушкетер, одним словом. Он меня водил, показывал и рыцаря, и водосток на Чистых прудах.

Все же, что там ни говори, в школу бегал. Хотя удирал оттуда более прилежно. Во всяком случае, во время суда над ним учительница литературы собиралась писать в Верховный суд: не мог ничего дурного сделать человек, в детстве так любивший литературу.

Минна работала в библиотеке мукомольного комбината. Там же работал, да еще и значился в больших начальниках отец Бориса Исааковича Зингермана, моего будущего… – как сказать? мэтра? покровителя? друга? – всё вместе, но не будем отвлекаться.

Минна Павловна была с ним (с отцом) очень дружна и попросила устроить своего Юлика на лето в лагерь на роль пионервожатого, прямо скажем, мало ему подходящую. Ну чего не сделаешь для милой женщины, такой веселой и легкой. И привлекательной, черт возьми. Так юный Боря Зингерман, в будущем один из самых авторитетных театроведов, встретился в летнем лагере с Юлием, да и пошел в пионеры, как сам вспоминал, поскольку уверовал в своего пионервожатого.

И это он привел ко мне Соню[1]: «Буквально на неделю, Ирочка! Честью клянусь». Ох, поберегли бы вы честь, Борис Исаакович: Соня со мной прожила шесть лет – со мной, с

Павлом[2] и с Юлием. Хорошая у нас была семья! Правда же, очень хорошая.

Однажды Минна Павловна сказала Юлику: «Мы мешаем папе работать. Поэтому он теперь будет жить и писать в другом доме. А ты сможешь к нему заходить».

И ведь не дурак был мальчик, а сколько времени прошло, прежде чем он понял: у отца, встречавшего его в бархатном халате с кистями, в новом доме другая жена.

После смерти Юлия она меня разыскала, Слава, последняя страсть его отца. Юная гордая полячка. Разыскивала много лет Юлика – и вот опоздала.

– О господи, да я о вас знаю! Мы тоже вас искали! Юлик так помнил вас – Слава… как дальше?

– Просто Слава.

Да нет, она была не просто Слава… Хороша была так, как бывают только юные польки. Вот и потерял голову стареющий Марк.

Вспоминала: когда они, еще любовники, не имели пристанища, явились ночью к Минне и Юлику, которых, между прочим, Марк бросил, как сказал бы хор обывателей. Но только не Минна. Встретив ночных гостей, захлопотала: «Ох, Марк, как ты устал! Садись скорее, я сниму твои ботинки, Юлик, согрей воду и тазик принеси. Да вы садитесь, чаю?.. Только вот у нас к чаю ничего нет».

Когда хоронили Марка, не дожившего до старости, писательская братия взялась ненавидеть юную польку: это из-за нее, это все она… Еврейские писатели в этом пункте сплотились, как никогда, явив собою дружное единство. Тут Минна Павловна подошла к ней, обняла, и взяла под свою защиту.

(Даже если поздняя любовь и сократила жизнь Марка Мееровича, или Марка Даниэля – как ни кощунственно, следует сказать: слава богу! Не дожил до уничтожения еврейских писателей, всех скопом. Не дробили кости, не вырывали золотые коронки.)

С годами Минна Павловна жизнерадостности, кажется, не потеряла. Однажды в нее влюбился молодой кто-то из Юликовых фронтовых друзей, предложение сделал! Она было и согласилась. Только вдруг: ой, как же так, я ведь Марка люблю. Нет, ничего не получится.

Потом, потом, когда жили на Маросейке в двух крошечных комнатках Юлий, Лара, Санька[3] и бабушка, что-то в Минне надломилось. Свет покинул ее, и душа все глубже уходила во мрак болезни. Умерла она в больнице и всю жизнь Юлика приходила к нему ночами ссориться и упрекать. Она и стояла,

видимо, в ногах его постели в последнюю минуту, и он ее увидел, я это поняла. Увидел, изумился, и было это последним, что показала жизнь.

Но я не о том хотела рассказать, я – о женщине изумительной и неповторимой, которая была одарена талантом великой любви, а с этим без таланта не справиться. О Минне Павловне. И прежде чем расстанусь с нею, скажу еще.

Это она, профессиональная, можно сказать, читательница, вычитала у самого Гофмана псевдоним своему Марку: Даниэль…

Плохо ли? Одно звучание слова чего стоит! Даниэль, Даниэль! А кто он там, у Гофмана, этот самый Даниэль, это не интересовало ни Минну, ни Марка. Вот ведь! У писателей псевдонимы обычно полны скрытого значения, а тут – один звук. Но зато завораживающий. Дани-эль…

Как-то я писала рецензию на книгу «Русский круг Гофмана», и так она меня завлекла, что не удержаться было – вписала в русский круг Марка Мееровича: «с тех пор на Руси пошли Даниэли».

Сегодня пошел уже четвертый круг Даниэлей, потомство разнообразное и высокого свойства – все. Только никому это легкое звание «Даниэль» так не в пору, не в масть, как оно было Юлию.

Легкость. Плавность. Иной удельный вес, чем положено в наших широтах. Слово Гофмана «Даниэль» пришлось ему в пору, как… как башмачок Золушке. Хрустальный, между прочим.

Наконец, последнее.

Я разбирала фотографии, принесенные Юлием в большом пакете. Тут вошла в комнату тетя Маруся Мейстрик из Ташкента, дальняя моя родня. А я как раз фотографию Минны держу в руках, где ей лет восемнадцать…

– Тетя Маруся, на кого похожа эта девушка?

– Что ты мне голову морочишь, это же Вера! Твоя мать. Ты что же, родную мать не узнаешь?

Значит, не показалось мне, значит, так и есть. Похожи они, мама его и моя. В какой-то момент юности промелькнуло, показалось это сходство – и ушло. Но ведь было же!

* * *

Про мать Юлия писать было легко, будто я ее видела на самом деле, наяву. Но отца Марка Мееровича Даниэля вижу только на фотографиях. Красив. Вальяжен. Благороден. Я по существу ничего о нем не знаю.

Переплела все его книги, были они бумажные, в масть времени – поспешные. Поспешно изданы, торопливо переведены с идиша и порядком растрепаны. Может, и написаны торопливо. Запомнилась книга о Юлюсе из литовского подполья. Юлик и назван в его честь.

Юлий об отце говорил редко и вспоминал мало. Тайно от Юлия стремилась я понять этого человека, потому уговорила посетить два еврейских дома, где того могли помнить и где меня знали прежде. На пороге называю фамилию моего спутника (в те времена «Даниэль» – это пароль, проверка). Лица почтенных мужей подвергались мгновенному затмению, их жены всплескивали руками: «Марк!» Эти женщины всё еще были красивы и Марка вспоминали мгновенно.

За столом хозяева хотели заговорить на идиш, Юлий объяснил – языка не знает. Как же так?

Вы можете подумать это «как же так» к нему относилось? Нет. Ко мне. Они уже поняли – Юлик для упреков не создан, а я могла бы выучить язык, чтобы читать Марка в подлиннике.

Эти женщины вспоминали Марка хором. Хорошо вспоминали. И мужья их не хмурились.

Еще я привела Юлия к Тышлерам. Услышав пароль «Даниэль», Александр Григорьевич обрадовался. И Флора, всегда меня упрекавшая (не так пишу о Тышлере), улыбалась сердечно. Тышлер вспоминал Марка с яркостью и, конечно же, талантливо. Только мне загадочность Марка Даниэля не открылась ни капли. Разве что выяснилось: жены у него были необычные, и не только Минна.

От Юлика же мне порядком влетало: «Перестань искать мне родственников!» Я обещала. Но родственница Алла Шабун сама нашлась, ей-богу. Я ни при чем. Тут уж расскажу, не удержаться. Тем более – сюжет мистический.

У меня была почечная колика, а тут сын, Павлик, должен был поступать в институт, – я ей сказала: потом придешь!

Потом она и пришла – и меня по «скорой» в больницу. В палате говорили: «Индианку привезли – желтая и волосы темные». Какая-то пациентка засуетилась. Воды принесла и сестру заставила мне укол сделать. Я заснула, а утром благодарю ту женщину – она маленькая, подвижная, чуть хромает. На мою благодарность отозвалась неожиданно:

– Ну что вы! Вас вот привезли, а я уснуть не могла, что-то разволновалась. Родственников вспомнила. Юлика Даниэля. Лару…

Ну конечно же, Юлика ждал сюрприз, он навестить пришел меня – и вдруг: Алка? А ты что тут делаешь, и так далее.

Шестиюродные.

С Аллой я потом встречалась, обожгло меня ее узнавание. Да нет, никаких признаков ясновидения не наблюдалось. Что ж это было? Не знаю. Но разве мы были похожи? Лара – Юлий – я?

«Что я могу для вас сделать?»

Вынимаю из шкафа пачку желтых стертых газет 1966 года – отечественная печать по поводу процесса. Что стоят сегодня старая ненависть и злоба? И клевета. Сейчас они не стоят ни комментария, ни ответа. Но я отвечаю сейчас лишь одной газете, «Вечерней Москве».

«Не найдется сегодня в Москве, в стране человека, который всем сердцем не одобрит справедливого приговора, вынесенного подлым двурушникам и предателям интересов Родины».

Подпись… Впрочем, подпись я опущу, она уже ничего не значит. Тем не менее у меня по-прежнему есть основания объявить этим словам войну. Они есть ложь не только о Синявском и Даниэле. Они оболгали людей Москвы, людей страны. Ибо настала пора сказать, сколько горячего сочувствия выплеснулось наружу и сколько поддержки двум подсудимым было в этой стране: море, великое людское море.

Это было во время суда, это было после суда, это было потом. Жизнь Юлия была согрета людским участием, свидетельствую об этом и прошу учесть мои свидетельские показания.

Это было в Москве, в Таллине, в Ереване. Это было в Дагестане и в Вильнюсе. Узнавая Юлия, люди словно отдавали ему тайную честь: рукопожатием, взглядом, улыбкой.

В пору процесса в защиту Синявского и Даниэля раздалось множество голосов. Были голоса Арагона и Грэма Грина, но и у нас нашлись отважные души, не дрогнувшие перед риском.

Шестьдесят два литератора подписали письмо в их защиту. Из них выбираю лишь пять имен: Аркадий Анастасьев, Александр Аникст, Нея Зоркая, Инна Соловьева, Михаил Шатров. Отбор несправедлив, писать нужно обо всех. Но я говорю лишь о людях театра, об актерах, режиссерах, художниках. Их имена громки. Или мало известны. Или же неизвестны вам совсем. Театр отвечал Юлию любовью на его любовь к театру. Может быть, за противостояние, за то, что отстоял достоинство свое и наше.

Помню «Доброго человека из Сезуана». Вырвавшись из Калуги, Юлий отправился на Таганку, Высоцкому передал записку. В антракте позвали за кулисы. Высоцкий стоял у гримировального столика, напрягся в ожидании, полетел навстречу входящему:

– Юлий!

Обнимались молча, все ясно без слов. Живой, вернулся… Снова встретились.

Как-то в БДТ после спектакля (мы уже уходили) подошли

актеры: «Извините, вам нужно расписаться». Да так серьезно! Повели куда-то, где низкие своды сплошь в цветных автографах.

– Распишитесь.

Юлий колебался. Были случаи, когда за контакты с ним кто-то откуда-то сверху взыскивал. И кто-нибудь, не дождавшись взысканий, пугался знакомства. Но так было раза два, не больше. Представляясь, он говорил «Юлий Маркович», а фамилию не называл, боялся перепугать и тем поставить в неловкое положение. Все было, и к одному театральному художнику в дом явились однажды статисты в штатском: «Вчера вы гостей собирали, почему принимали Даниэля?» – но нарвались на грубость, художники это умеют.

Много было театров, куда мы ездили вместе, я по профессии, он по неутомимому любопытству к театральной жизни.

И когда мы с Юрой Фридманом, режиссером, делали спектакли в театрах кукол и приставали: напиши песенку, пьесу напиши! – он писал нам песенки легко и охотно, а для пьес призвал в соавторы Ю. Хазанова, – на афише стояло: Ю. Хазанов, Ю. Петров.

Не писать же «Даниэль», не подводить же театр!

Псевдоним был спущен откуда-то сверху, как крепостному актеру: можно переводить, но только в одном издательстве и под «Ю. Петровым». После бури, поднятой процессом, дело Синявского – Даниэля сводили на нет. Будто ничего не было. И странна была эта жизнь, и невероятна. Он был и его как бы не было, в списках не значился. Умолчание, идиотская фантомность, неназываемость, поручик Киже навыворот.

Он, оставшийся жить здесь; он, отказавшийся от эмиграции, – он жил человеком без Родины.

Но люди, люди были кругом, в их симпатии, в их любви и дружбе он и существовал.

Мы водили дружбу с целыми театрами. Мы дружили с кукольниками Андижана и Тюмени. Мы дружили с режиссерами, с актерами, а вот театральные художники стояли в списках дружб особо – Эдуард Кочергин, Марк Китаев, Давид Боровский.

Однажды мы сбежали из Москвы в ноябре, перед днем рождения Юлия, это ведь никаких сил не хватало, придут пятьдесят друзей, другие пятьдесят год на меня сердятся, что в тесный дом не вместились. Вот и бежали в Тбилиси. По счастью, там выставка грузинских сценографов, мне там нужно быть, и мы там оба.

И вот: разведали грузины! И устроили великое застолье в честь дня рождения Даниэля.

Мы не знали тогда, что Грузия еще раз явится в нашей судьбе.

Когда работы Юлию в Москве совсем не стало, переводы заказывала Грузия.

Был он легок, беспечен, легкомысленен даже, хрупкое и подорванное его здоровье держалось одной лишь силой духа, а силу давала любимая работа – только. Переводом стихов он жил и дышал. Растворение в иноязычном поэте – быть может, здесь сбывалось его несостоявшееся актерство. Грузинские переводы отсрочили смерть на несколько лет.

В кругу театральных художников его принимали как своего. В семидесятые годы сценографы составляли самостоятельный цех, рыцарски замкнутый, собиравшийся часто на свои выставки то в Ленинграде, то в Прибалтике. Юлия звали.

Тщательно рассматривал он эскизы, заглядывал в макеты. Сценография дала мощный выброс. Суровый стиль выводил театр в пространство жесткое, космически пустынное. Оно заставляло помнить о себе, что бы ни происходило на сцене. Что это было? полигон человеческих испытаний, открытых нашим веком, лагерная зона? Да нет, никаких указателей не было, и метафорический язык той сценографии в сущности еще не разгадан.

Бил набат, сценография несла знание о том, о чем не говорилось вслух в те времена. Сценографы видели отчетливую двойственность бытия: жизнь идет, а вокруг мертвящая среда.

Кто-то из них читал его прозу, там было о двойственности: «Ты говорил, что у тебя есть свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море – в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины – они были написаны пóтом, пролитым в Магадане и Тайшете. Свобода любить женщин – они все были невестами, женами и вдовами тех самых…» Так сказано в повести «Искупление».

…Позвонил художник Петр Белов: хочу показать новые работы, не знаю, что получается. И очень хочу, чтобы пришел Юлий Маркович, мне это так важно.

Пришли в мастерскую. Застенчиво и волнуясь, он показал то, что потом принесло ему громкую посмертную славу. «Беломорканал», «Расстрел Мейерхольда».

Выучка сурового стиля определяла связь явлений в его полотнах. Экспрессивные, пожалуй, и наивные в характере иносказаний, они яростно пробивались к одной-единственной истине. Белов прокручивал вспять прожитое время, ему самому досталась благополучная жизнь. Теперь же он хотел увидеть то, что его невидимо окружало: зону, где, пока мы жили, зэки высыпались из барака на каторжную работу, как крошки табака из пачки «Беломора». Ход его мысли и движение боли оказались

адекватны тому, что переживают сейчас читатели газет и журналов, впервые узнавая о терроре, губившем страну десятилетиями.

Еще раз мы пришли к нему. Были гости. Юлий был уже смертельно болен, Петр – уже приговорен врачами. Среди новых картин стояла одна темная, с фотографиями автора от рождения до гробовой доски. Петр показывал ее спокойно, Юлий рассматривал внимательно.

И я поняла, как мало осталось им и как скоро мы их потеряем.

Недуг, уводивший Юлия, был страшен. Был он неподвижен и безмолвен. Только зрение, сознание, слух – мы разговаривали безмолвно.

Вдруг почтальон принес журнал «Юность»! Успела, успела при жизни появиться повесть «Искупление», впервые у нас, впервые на родине. О господи, горе какое, он не узнает.

Нет, узнал. Понял.

Когда из редакции «Юности» принесли почту – отклики читателей, – было там письмо одно, я и сейчас его помню. Из Ленинграда. Незнакомая нам Татьяна писала – если бы прочитала «Искупление» тогда, когда оно было написано, жизнь повернулась бы иначе! Могу ли я что-нибудь для вас сделать? И совершенно неожиданно: хотите – приеду пол вымыть…

Письмо было пронзительное, я его вслух прочитала. Он закрыл глаза – брови поднялись изумленно: «Невероятно».

Голос безмолвия.

Когда его уже не было на этом свете, каждый день на кладбище ездила, не могла привыкнуть к разлуке. Возвращаюсь – на кухне друзья и врачи. Так привыкли быть с нами, что отвыкнуть не могут. Собрались за столом, а у раковины спиной к нам незнакомая женщина моет гору посуды.

Ну не полы все-таки! Это и была та самая Татьяна. Опоздала – его уже не было. Она осталась.

Могу ли я что-нибудь для вас сделать?

И смогла, и сделала. Вместе с ней мы собрали книжку «Юлий Даниэль. Говорит Москва». Огромный объем его лагерных писем готовила к печати с яростным усердием не год и не два. И стала другом нашей семьи, родным человеком на многие годы. Вот так: пришла к нему – осталась…Татьяна Шабалина.

«Молодой-красивый, дай погадаю»!

Кто передал мне во дни незабываемого суда тайный сверток?

Согласно этике тех времен сказать, кто именно передал, строжайше запрещалось. Да я уж и не помню кто, прошло вон сколько лет.

Зато, что там было, еще как помню.

Было ОНО на папиросной бумаге самиздата, это ночное чтение, что сродни курению, опасному, разумеется, опасному. Невесомые призрачные страницы поляризуются на пальцах, машинопись через один интервал, пятый экземпляр, конечно, пятый, да и был ли у самиздата первый?

И – как всю жизнь всякое чтение раскрываю не от начала, а где придется – привычка школьных лет, тогда мы верили в таинственную значимость выпавшей строки. И хотя потом уж верить перестали, я и сейчас открою книгу поначалу где попало и загляну, что выпадет.

А что же выпало тогда? Стихи среди прозы:

Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,
Сердце бедное у зависти в руках,
Только гляну, как цыганки закачаются
На высоких, сбитых набок каблуках…

О господи, за это, что ли, сейчас судят автора? С них станется, цыганский каблук обвинить в антисоветчине.

Гады.

Суд шел днем, мороз – жуткий, и мы толпою простояли перед зданием суда на Пресне, куда, конечно, нас не пускали; вход был по пригласительным билетам.

…И я еще раз разворачиваю папиросный сверток, но только и второй раз выпадает та же страница, а так не бывает.

Отвечают мне цыганки – юбки пестрые:
К вольной воле весь наш век мы держим путь,
А захочешь – мы твоими станем сестрами,
Только все, что было, – не было, забудь!

Вот оно что. Ему нужна вольная воля, не больше и не меньше. Зато ОНИ и вцепились в горло, воля для них ничем не лучше антисоветчины, а если разобраться, то и хуже.

Но что ж, я учинила гадание на кофейной гуще? Сначала, будем читать сначала, от заголовка «Искупление». Повесть. Страница первая:

«Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая все-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли. Вот цыганки – те все как одна идут-плывут, только юбки вьются».

Дались ему цыганки. Кстати, какие у нас походки, неужели он прав? Мы с ним были знакомы. Совсем немного.

Когда меня мордовали в центральной прессе за некий очерк, кстати, в журнале «Театр», он позвонил. Другие тоже звонили, выражали соболезнование или осуждение, он же выразил восхищение, только не помню чем, может быть, ситуацией: «написал – получил».

А что, собственно, получил? То ли в скором времени о нем самом напишут в тех же «Известиях»!

Но – позвонил. Голос у него бархатный. Качественный был бархат.

Потом его арестовали. Сначала Синявского, потом его.

Москва впала в панику. Никто не знал за что. Может быть, начало массовых репрессий. Волнение было сильное, всех качало, едва не каждый успел представить в этой череде себя. Только так можно объяснить то обстоятельство, что эти два ареста интеллигенция приняла столь близко к сердцу.

Что ж оказалось?

Оказалось – взяли писателей. Оба известны за рубежом как Абрам Терц и Николай Аржак. Таковы псевдонимы, из блатных песен. «А еще культурные!» – возмущались дружинники возле пресненского суда. Дружинники ждали вооруженных нападений.

Их отловили в сентябре 1964 года, Андрея Синявского, литературоведа, и Юлия Даниэля, переводчика.

«Суд идет» пророчески назвал одно свое крамольное произведение Абрам Терц.

Наутро мы опять несли вахту на Пресне.

Нас притянуло туда магнитом сочувствия, жаждой сопереживания. В те дни мы оказались «людьми одного караса», как нас позже обучит говорить Курт Воннегут.

Для меня, в близкой дружбе с подсудимыми не состоявшей, чужая ситуация стала своей. Кровно своей.

Наверное, с другими было так же. Не говоря уже о закадычных друзьях, у Юлия их было множество.

Но если рассуждать о том, почему мы в конце концов оказались вместе, я упираюсь в цыганские дела. Цыганки наворожили, не иначе. И какой табор, ушедший в небо, раскинул

наши карты?

А было так.

Оказавшись в мордовском лагере по приговору суда на пять лет, он, Юлий, просил всех писать ему и всем отвечал – в одном общем письме родным. Письмо читалось вслух по разным домам. Обзванивали всех, все и собирались.

Общее чтение писем Юлия стало важным ритуалом московской среды. Бдением в некотором роде. В этих сборищах эпистолярного характера было его присутствие среди московской компании, и если нужно было это всем нам, то ему совершенно необходимо. Потому интонация писем непринужденная, легкая, «прогулочная». Словно и не было в лагерной жизни подавления, мрака, а если и были, то не огорчать же этим милых друзей и милых подруг. Он и не огорчал.

Много позже он рассказывал мне, как в соседский лагерь приехал к «своему» табор на личное свидание, раскинулся, тряпки сушились на колючей проволоке, и весело им было, к великому негодованию лагерного начальства и даже растерянности. Наверное, письма Юлия, читаемые цензорами с особым тщанием, вызывали у них те же чувства.

Итак, писали ему: друзья – часто, я – редко, неудобно навязываться, мы же едва знакомы, чего я буду писать, как девушка солдату, знакомому по переписке. Еще была сложность в поиске сюжета.

Но оказавшись в Праге по сценографическому поводу, все же написала большое письмо с подтекстом. Из каждой строчки торчали уши примитивных намеков. Однако лагерная цензура дала маху.

Писано же было, что чехи доверили мне читать своего талантливого нового писателя по фамилии Выходил, его повесть «Говорит Прага». Что по сердцу мне пришелся тот писатель. Что Прага, которая говорит, хороша, но Чешский Крумлов лучше, город средневековый и таким остался, и отдали его цыганам во искупление геноцида военных лет, ведь только цыгане равнодушны к отсутствию электричества и воля им дороже клозета; и что цыганки, пышные и с тучными волосами, не похожи на наших, поджарых, от московских тротуаров, но юбки вьются и так далее.

Следовало же понять, что читана повесть Даниэля – Аржака «Говорит Москва» и что я от души надеюсь, что он выйдет на волю. А повесть хороша, но другая повесть, «Искупление», еще лучше, где песню про цыганок поют в московской компании…

В ту пору все мы были большими конспираторами. Уроки эзопова языка я брала у самого Белинкова[4]. Впрочем, теперь

понятно, что освоена была только школа начальной ступени. Ну да что сейчас об этом. Главное: он письмо получил. Все понял, о чем сумел сообщить. Так что мои личные чешские цыганки достигли цели.

А потом и по другому поводу в общем письме написал про цыган, уже его собственных.

Цыгане, писал он, моя давняя и незатухающая любовь.

«Я чуть не подпрыгивал от радости, когда меня спрашивали, не цыган ли я. Я в отрочестве был совершенный цыганенок. Да и потом, лет эдак до 25–27. А уже после полезла наружу моя иудейская подоплека. Меня всегда восхищало то великолепное пренебрежение ко всему, что мы напридумывали, – от манер до комфорта. И действительно в них „что-то птичье и египетское есть“. И дело не в том, что они красивы почти все – по нашим, по европейским меркам; нет, даже какая-нибудь смуглая, маленькая, кособокая, с отвисшими грудями – проходит не среди, а сквозь и мимо, как мы проходим мимо неинтересных и неодушевленных предметов. И отношение у них к нам тоже утилитарное: они нас замечают, когда мы нужны (как мы к предметам): лишь тогда они кружат вокруг нас свои замызганные юбки. Тем более мне приятно вспоминать, что ни одна моя встреча, ни один разговор с цыганами не был для них материально выгоден. Помню, у меня никогда и денег-то не спрашивали. Своего, что ли, узнавали?»

Вот именно узнавали! И дело было не в темной масти – мало ли черноволосых.

Был дан ему шаг легкий, неслышный, так ходят не в городе, а по горной тропе, и в каждом движении – цыганство. Иначе – свобода. Но мягко аранжированная, без манифестации и категоричности, свойственной суровым борцам за независимость. Просто чувство вольности было у него врожденным, владело им, как говорится, в размерах чрезвычайных. В той действительности, где мы выросли и сформировались, такого состояния души, как у него, просто и быть не могло.

Право, уйти бы ему с табором, оно, может быть, и лучше было б.

Да, но тогда мы бы не встретились.

Я и сейчас думаю, цыганская это была нить, что нас связала. Его московские и крумловские мои – эти уличные ворожеи, столь сведущие в таинственных делах судеб, подсуетились заочно.

Продолжение в городе Калуге, куда Юлий был сослан на год по отбытии заключения в лагерях, потом – во владимирской тюрьме.

В Калугу к нему друзья приезжали и я приезжала тоже. Я была одна в доме, когда в дверь позвонили и на пороге появилась

седая горбоносая птица с прозрачным глазом гипнотизера и серебряной серьгой, назвалась сербиянкой. Я ее тотчас впустила и, разумеется, немедленно оказалась в ее власти. Выложила свой скромный капитал, объяснила, что нужно мне в Москву ехать, она честно отложила обратно в кошелек – на электричку и на метро, остального хватило на славное чародейство. Выдернули нитку из подкладки моей шубы, разорвали, а нитка оказалась целехонькой, холодная вода из стакана не выливалась, но закипала с шорохом дальнего прибоя. «Только не гадай мне», – прошу. «А чего тебе гадать, и так ясно». Это ей ясно, а не мне. Но я так просила ее прийти завтра, когда хозяин будет, и показать ему все это, особенно с морским прибоем и еще чудо с ниткой, и обещала ведь она, обещала!

И не пришла. Он ждал ее очень.

Оказалось, мы оба ценим фокусы. Еще оба терпеть не могли, когда их, фокусы, разоблачали.

Однако прежде, чем двинуться дальше, я призываю себя не порывать полностью отношения с жизненной правдой и говорю – тебя послушать, так можно подумать, что все цыганские встречи были приятны; друзья, узнав про визит сербиянки, заверяли, что ее КГБ подсылал, только Юлий не верил, и я не верю.

Ну а в поезд Андижан – Москва тоже не веришь? Припомни, не ты ли в ноябре шла с вокзала домой в халате, оставшись без куртки. И впав в глубокий сон, во сне все же видела этих двух маленьких радужных женщин, почему-то оказавшихся в купе. Было это? – Увы. И вообще обобрать меня поздней осенью было свинством. Да, но, обчистив по дороге и мою косметичку, они оставили необходимое, с их точки зрения, а именно затрапезный тюбик помады, давно его нужно было выкинуть. Тюбик этот, оставленный мне в утешение вместо куртки и прочего, записываю в цыганский актив.

Стяжательство и сорочья жадность к вещи равнялась жесту отказа. Как-то в Калуге мы с Юлием отправились на толкучку, а там цыгане торгуют своим тряпьем, но никто не покупает, вот они развели костер на снегу да и пожгли свой товар, и так весело! Только зубы сверкали. Кажется, нам, благодарным зрителям, персонально показали этот спектакль, а среди калужских торговцев одобрения такой бесхозяйственности не возникло.

Но не все пристрастия были у нас с ним одинаковы.

Он в Щепкинское училище в юности поступал, а я Мейерхольдом занималась. То, что его не приняли, а мою диссертацию десять лет не пропускали, оно, конечно, дополнительно сближало, но все же со счетов не скинешь разность систем.

Он море любил больше всего на свете, а мне лучше в лесу.

Ему бы с книжкой на диване лежать, а я брожу где попало. Он ворчал: шастаешь! Хуже кошки.

Но кошек мы как раз любили оба. Еще: Диккенса, Дэзика Самойлова и молдавское вино.

Что за вечер в степи молдаванской?

Да цыганский это вечер, что и говорить. Цыганский – и никакой иной.

Вдруг меня позвали художником по костюмам в театр «Ромэн», на спектакль «Цвет вишни», где дело происходило как раз в Молдавии, что для меня было кстати, очень кстати, объясню почему.

Нет сомнений – жизнь подкинула мне «Ромэн» не потому, что я ужалена цыганством, а потому, что Юлий был рядом, и, конечно, судьба его и присмотрела в первую очередь.

Судьба у нас уже была общая. Я работала несколько раз с режиссером Б. Ташкентским, с режиссером Э. Эгадзе мы делали «Кровавую свадьбу». И начались контакты с этим странным театром, личные и творческие.

Что и говорить, это было уже не таборное общение, то была интеллигенция, люди театра. И как всегда во всяком театре, актрисы составляли особую группу, племя в племени, пламя в пламени, театр в театре. Для меня, во всяком случае, было именно так.

То была бурная жизнь, полная страстей и профсоюзных собраний, почему-то «Ромэн» питал непонятную склонность к этому роду человеческих занятий. Треск шелков, хищное щелканье ножниц, рыданье скрипки за стеной и гортанная речь.

Не знаю, как сейчас, но в те времена, когда я переступила порог театра «Ромэн», на сцене непременно присутствовал обширный табор. Табор, как мне сказали, одевался сам, из подбора, а мне предстояло его одеть согласно собственной идее. Мне необходимо было изобрести велосипед, но – свой. О том, как я летела со своего велосипеда, придется вспомнить.

Подлинник – истинный таборный женский костюм – в своем роде совершенное создание, и повторить его на сцене казалось мне плагиатом. В том случае этнографическая добросовестность и наблюдательность любителя экзотик ретировались перед ослепительной перспективой поэтических вольностей в духе Лорки, перевод А. Гелескула:

Прикрыв горделиво веки,
Покачиваясь, как в тумане,
Из-за олив выходят

Бронза и сон – цыгане.

Что-то в этом роде. Юлий сомневался:

– Толя Гелескул – переводчик от бога. Но тебя заведет. Лорка проще. Лорка грубее.

Где там! Мне уже виделось в моем таборе оливковое свечение заката, и бронза тени, и морок ворожбы – и, главное, чтобы горделиво. Наш семейный спор про материальную часть относился к духовной сфере. Он, литератор до кончиков ногтей, не допускал вольности с авторским текстом, я вольности и до сих пор допускаю. По какой причине – сейчас рассуждать не место. Тем более что уводила меня за собой как раз литература. А также личное – мои цыганские встречи.

Я выросла на Урале, в Перми. Мне очень рано прочитали книжку Элизе Реклю про народы мира. А какие картинки! Папуасы, лапландцы и обитатели Огненной Земли. И завидев первую в моей жизни таборную группу, я вырвалась от няни Маруси и понеслась к пришельцам, объявляя всей улице: «Вот идут народы мира!» Только в раннем детстве дано нечаянно угадать истину, когда в истинах решительно ничего не понимаешь. Народ мира двигался по улице Луначарского, сметая видавшими виды подолами непролазную пермскую грязь. На женщинах были мужские пиджаки, безмолвные младенцы с темными щеками были приторочены к прямым спинам цыганок бумажными платками. Маруся сказала страшным шепотом и крестясь: «Вот если девочка плохо себя ведет, ее цыгане-то и забирают». Логики в том не было – зачем, спрашивается, цыганам девочка плохого поведения?

В отрочестве меня повезли на север Молдавии, в село Забричаны, к родственникам. Там был большой дом без окон и дверей. Говорили, что его построил для цыган какой-то деревенский меценат, чтобы зимою всякий табор мог найти укрытие. Цыгане, нестерпимо оранжевые и лазурные, с лицами византийских святых и вкрадчивой повадкой конокрадов, сновали перед домом. Я спросила двоюродного деда, почему нет окон и дверей, дед сказал: они не терпят быть в клетке. Был дед молдавским священником, во время войны он и попадья Дора скрывали евреев, потом цыган. В погребе. Цыгане в погребе сидеть не желали, Дора темпераментно материла их на дюжине языков, загоняя обратно и стращая концлагерем, но цыганам погреб представлялся не более привлекательным, чем неизвестные лагеря смерти. Впрочем, добрые отношения не испортились. Прикочевав в цыганский дом, странники шли

приветствовать любимого попа, мальчишки в тугих бубенцах кудрей, кривляясь, пародировали эксцентричную попадью.

В моем первом цыганском спектакле, кроме массовки-табора, были крестьянки молдавского села, и можно было играть на контрасте. Табор – движение, крестьянки – статика; табор – ветры дорог, крестьянский костюм – дом. Я принялась строить «дома» – прямые негнущиеся плахты из тяжелых гобеленов, но ничего такого летучего, чтобы годилось для живого трепета таборных одежд, в ту пору ни на складе, ни в магазинах не было. Да и быть не могло того, что бы угомонило мой зарвавшийся замысел. Новые ткани не годились. Меня допустили к складу старых ромэновских костюмов, списанных и обреченных на сожжение, и я стояла по колено в пыльных волнах полинялых шалей, отчаянно рябых ситцев, распавшегося бисера, осыпавшихся юбок. Ткани умирали, рассыпаясь в прах, теряя цвет, а он снова вспыхивал, яростно цепляясь за шелковые нитки. Подумать только, где-то здесь и костюмы Тышлера! Мы с Юлием у него были, он показывал фотографии своего цыганского спектакля. Найти бы те костюмы Александра Григорьевича, да разве в спешке найдешь! Потом, потом. А потом ничего не было, склад исчез, и домик, где он был на Пушкинской, исчез тоже. Но прежде чем матерчатое море испарилось, мы (пошивочный цех и я) много чего успели вынести. Выстиранные и выглаженные, раскроенные заново старые шелка составили именно тот колорит, какой был нужен – выжженый солнцем, пропитаный ветром, овеянный пылью вечного странствия.

Бродягою была моя массовка, и тема пути была тут первой. Второй была тема величия. Цыгане называли себя фараонами, намекая на царственное происхождение, да и в Европе их звали фараоново племя. Бродяги, но царственные, и я отвергаю привычные сценические мониста, бусы из позолоченных ватных тампонов, чудовищная гадость, оскорбительная для актрис. Вместо того будут фараоновы пекторали, нагрудные выразительные украшения, их чеканил по образцам царских уборов Востока талантливый театральный бутафор.

Как воспримет все это коронованная мною массовка?

Массовка не задержалась с ответом.

Ловко орудуя маникюрными ножницами, наши актрисы спарывали знаки своего августейшего величия и, громко расхваливая художника (меня то есть) за гениальные находки, вытаскивали откуда-то свои невыносимые елочные бусы.

Исподволь в табор вползли изгнанные мной посадские платки, я снова их изымала, со мной соглашались искренне, ласково и душевно, но платки возвращались сами собой.

У табора были свои устойчивые привычки, по наследству перешедшие в театр из цыганского хора у «Яра», который, как известно, был особо знаменит. «Ромэн» желал видеть свой табор глазами широкой публики, купцов Островского и командировочных снабженцев.

Или не так? Это было мучительно. Это нужно было понять.

Мир, затянувший меня, был замечателен и совершенно ужасен, мир примерок, шуршаний, кротких портних с булавками во рту и шумных полуодетых красавиц. После нескольких часов примерок я влетала домой в ярости:

– Всё! К чертям! Да чтоб я когда-нибудь еще! Ноги мой больше не будет!

– А в чем дело? – спрашивал Юлий.

– Да она кричит, что ей юбка, видите ли, не к лицу, она зеленую требует, а у меня вся гамма летит, нет, к чертовой бабушке, хватит, «юбка не к лицу»! Ах ты господи…

– Значит, не к лицу.

К моей печали, в стычках моих с цыганками он держал их сторону, и ведь нравились ему мои костюмы, правда, нравились. А вот поди же ты, оказывался на их стороне.

Во дни моих терзаний на цыганские темы на неверный срок анимации спектакля они становились моими подругами, после чего мы ссорились, потом пылко мирились, иногда дружно, но коротко ревели, смеялись и пили кофе. Сев на пол, они с искренним интересом рассматривали мои эскизы, но мое представление о палитре, о гармонии или контрастах красок в их глазах не стоило ломаного гроша. Между тем они одевались со вкусом, у каждой было чувство стиля и точный глаз на колебания моды, но в театре они прочно держались традиционного понятия о цыганской одежде.

Юлий твердо стоял на том, что они в своем праве. В конце концов я должна была этому поверить, хотя душа моя еще сопротивлялась, но все-таки приходится признать: «Ты для себя лишь хочешь воли», как попрекнул старик-цыган Алеко, который, подобно мне, хотел привнести в табор свои понятия.

Цыганская юбка – это их тайна, а не моя, и мне ее не открыли, или она мне не открылась. И почему мои затеи цыганки не приняли, стало в конце концов понятно. Дело в том, что таборный цыганский костюм, способный включить в себя куртку «Аляска», косынку с видом Эйфелевой башни и плюшевый жакет из сельпо, – сам себе образ, мобильный, изменчивый, но и вечный. Что бы ни вошло в его изменчивый состав, в нем скрыто вечное движение, избранничество и обреченность быть всегда в пути. Платки, и шали, и юбки, и многослойные фартуки

совершают ложную попытку завязать в узлы движение крепких бедер и трепет спины и заражаются движением сами. Радуга прячется в необъятных юбках цыганки, как пойманная с помощью той же юбки курица.

Многие годы спустя при съемках цыганского фильма «Черный жемчуг» артистка из театра «Ромэн», игравшая современную цыганку, спросила, можно ли явиться на съемку в лосинах, а я по недомыслию разрешила, разразился такой скандал, какого не было нигде и никогда. Перевели скандал кратко: НЕЛЬЗЯ! Но и без перевода ясно было, спор не на жизнь, а на смерть. Чтоб всех утихомирить, мы с виновницей происшествия предложили так и снять эпизод – пришла современная цыганка в злосчастных лосинах, а муж учиняет перед камерой все, что учинил вне момента искусства. Они замечательно ругались по-цыгански, она вдруг наклонилась, проведя рукою по полу – ты, мол, дурак, хочешь, чтобы я носила только такие юбки? Эпизод удался. Но накал страстей, предшествовавший ему в Москве, дал мне понять, что про цыганскую юбку я по-прежнему ничего не знаю. И что Юлий, не вдаваясь в подробности, был прав.

Цыганскую вольную волю понимал Юлий, а я ее не поняла.

А что они, мои артистки, его любили, тут и говорить нечего. Когда он уже был страшно болен, а я мчалась к нему в больницу, мне встретились по пути они, мои красавицы из театра «Ромэн». Узнав, что происходит, сказали: «А давайте мы ему будем готовить? И в больницу возить. Вы не думайте, мы хорошие хозяйки».

Этого никогда не забуду.

Он умер 30 декабря 1988 года.

И вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель во тьму,
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.

Это Кедрин, любимые наши стихи о цыганке.

Стихи оказались обо мне.

Мой Юлий ушел, но не во тьму, а к свету, это я видела.

На лице его были отсветы освобождения и счастья.

Перебирая все, что сделало нас близкими неразрывно, я откладываю в сторону две старые фотографии двух молодых женщин. Обе цыганского типа. Отчасти они и похожи между собою. Это мать Юлия и моя мама – Мария, чистых еврейских кровей и Вера, крови смешанной бессарабской. Они похожи не только внешне, но еще и независимостью нрава.

Их сходство через цыганские приметы что-нибудь да значит в переплетении таинственных путей, на которых всех нас поджидают наша жизнь и наша смерть.

Неслучившаяся ссора

Мы поссорились один раз – только один!

Мне выпало рисовать эскизы к иркутскому спектаклю «Деньги для Марии» по повести Валентина Распутина. Можно сказать – это были виртуальные костюмы, заочные. Но думать о них было интересно. Денег на приглашение художника по костюмам в отечественных театрах не было, средств на приобретение тканей тем более, да и тканей вообще-то не было. Тем интересней была задача. Лысьва – «Кариолан», Кинешма – «Василиса Мелентьевна». А вот и «Деньги для Марии», Иркутск. Повесть Распутина была прекрасна.

Там женщине грозили суд, арест, этап, а сюжет был полон отчаянных попыток спасения; попытки рушились – никто из соседей по колхозу не собирался спасать Марию, деньги-то самим нужны: холодильник, сервиз! Впрочем, точно уже не помню, одно помню – сдали Марию. Всем миром, как говорится.

Ну какие костюмы?!! Да еще и заочно. И все-таки задача была интересной. Оно, конечно, черные ватники, сапоги, ушанки. Но ведь был сон, посетивший мужа Марии, и были там односельчане нормальными людьми, а шапка шла по миру собирать деньги, и я хотела обрядить колхозников этого сна в белые ватники… (ткань тарная, расход не велик).

А уж как я ненавидела их, Марию сгубивших… Наверное, это было не профессионально. Но ведь от повести сердце сжималось.

Эскизы сделаны, разложены на столе, и я отправляюсь спать, а Юлий, ночной человек, их посмотрит. Без этого ни один эскиз из нашего дома не выходил.

Вдруг он будит – вставай!

Такого никогда не было, напротив, всегда бережно оберегал мои недолгие сны, и вдруг – вставай! Да так категорично.

– Вставай. Эскизы не принимаю!

Вот новости, домашний худсовет, мало их в театрах, да что с тобой, Юлик?

– Ничего! Рисуй новые костюмы.

– Но в чем же дело?

Юлий: А дело в том, что не любишь русский народ.

(*Ремарка – вот оно что! В эскизы попало мое негодование против негодяев, всем миром женщину в лагерь сдавших, и не по злобе – по жлобству. Еще не известно, что подлей…*)

Я: Так! А за что мне твой русский народ любить?

Тут мы посмотрели друг на друга, остановившись на полном скаку в направлении к ссоре, и расхохотались. Правда же, славно

получилось, твой народ – народ Даниэля Юлия Марковича…

Никаких националистических поползновений за ним не значилось, о таком и говорить нелепо. Что касается меня… Да я тут, пожалуй, ни при чем. Я ведь взялась писать о Юлии, а не о своей горячности.

Описав неслучившуюся ссору, беру тайм-аут.

Был у Марка Даниэля рассказ – я не читала, должно быть, не было перевода. Юлий пересказал. Про старого сторожа, который все охранял и охранял склад. По ночам выходил на работу, потому не знал, что склад разворовывают понемногу среди бела дня. В конце концов разорили склад, вынесли все, а сторож приходил каждую ночь и караулил пустоту.

Да, Юлий был единственный среди всех нас «россиянин», как говорят нынче. Как-то планетарно звучит, вроде «марсианин».

Что отнюдь не мешало ему горячо полюбить иные народы и страны, и уж тем более если они входили в состав всемирной империи по имени «Поэзия».

Я так любил тебя, моя Россия,
Как, может быть, и женщин не любил

(«Стихи из неволи»).

Потому и не уехал отсюда, когда ему предлагали – только что не угрожали.

Нет, нет и нет.

Он не искал лучшей доли, хотя был эпикуреец.

Но больше – рыцарь.

«Таких не знали небеса»

Вдруг случилось нечто невероятное: решено устроить при кукольной экспозиции Тюменского краеведческого музея… уголок Даниэля.

Никто не мог сказать, что такое решение было тривиальным. Да и Юлик на такое никак не мог рассчитывать.

Сделала это Раиса Николаевна со своей высокой прической на екатерининский манер и выправкой кавалерственной дамы. В свое время она была знаменита на весь Урал как директор Тюменского театра кукол и масок.

Я там оформляла несколько спектаклей и поспособствовала тому, что пьесу «Следствие ведет Шерлок Холмс» написали для этого театра Ю. Хазанов и Ю. Петров. Кроме того, выпросила у Юлия песенку (на музыку Наташи Араловой) для нашего спектакля «Карлик-нос». Он написал и подарил Раисе Николаевне:

Ах, чудеса – ну чудеса,
Таких не знали небеса.
Спаси нас и помилуй!..

И хотя имя автора в те давние времена невозможно было вписать в программку, песенку ожидала необычная участь. Она все жила и жила при Тюменском театре кукол, да так прижилась, что, говорят, звучит в городе Тюмени до сих пор, сорок лет спустя.

На этом связи с тюменскими куклами не кончились. Когда Лариса Богораз была изгнана из своего института за неугомонный нрав – что ж! – Тюменский театр заключил с нею договор на изготовление кукол к спектаклю «Макбет»: на наше счастье, была она не только математическим лингвистом, не только активным деятелем диссидентского движения, но и прирожденной кукольницей.

Раиса же Николаевна, бывая в Москве довольно часто, обязательно приходила и к нам, поскольку я тогда, можно сказать, работала у тюменских кукол только что не в штате. И вот, бывая у нас, она в конце концов Юлия полюбила, хотя в первый момент знакомства, полагаю, растерялась.

Как-никак в прежние времена обитала на олимпе, в просторечии именуемом обкомом партии, откуда ее направили, точнее, бросили на укрепление отсталого объекта, каковым и был

до нее кукольный театр. И ведь как театр поднялся! От «Колобка» до Шекспира, но об этом как-нибудь потом.

Короче говоря, при первом знакомстве с Даниэлем баба Рая, как называли ее уральские кукольники, должна была, да просто обязана была растеряться. Но виду, разумеется, не подала. Глазом не моргнула. Хотя – голову даю на отсечение – газетные заголовки по поводу небывало скандального процесса над двумя писателями (а кто, спрашивается, тогда этих газет не читал!) – жирные черные заголовки так и замелькали под ее высокой прической: и «Наследники Смердякова», и «Перевертыши» – да мало ли! А тут вот он, перевертыш…

Что Раиса Николаевна когда-нибудь может покинуть театр кукол, – поверить в такое было невозможно. Во всяком случае, кукольники Уральской зоны верить в это не собирались. А когда все-таки поверили – что делать? – никак не могли понять, как будут теперь существовать врозь. Такое и представить никто не мог.

Скоро выяснилось – театру без нее пришлось скверно. Она же хоть и оформила пенсию, удаляться от дел не собиралась. Нашла-таки выход наша баба Рая, придумала, как со своим детищем не расставаться. Тотчас отправилась работать в Тюменский краеведческий музей и там занялась важным делом: вписать наши куклы и маски в общее историческое славословие города Тюмени.

Оговорю сразу – бывая в Тюмени по делам кукол, я как-то умудрилась в этот музей не попасть. Почему? Да кто ж его знает. Наверное, мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь не буду делать спектакли в этом славном городе и в этом театре, и… Короче говоря, в музее не была. Не успела. Не посетила! Хотя вообще-то любила эти краеведческие музеи и, попадая в какой-нибудь российский город, именно такой музей обязательно посещала. Что-то меня в их устройстве трогало, хотя экспозиции кукольного театра ни в одном городе что-то не припомню. Может быть, потому, что краеведение мыслило другими масштабами – мезозойской эрой и мировой революцией. От ископаемого моллюска, имевшего счастливую возможность угодить на музейный стенд из раскопа местной почвы, – до Героя Социалистического Труда. Его портрет в комбинезоне, с ликом победоносным и суровым, за штурвалом, обычно завершал трудный путь данного города к светлому будущему. Ну какие уж тут куклы, хочу я спросить. Калибр не тот.

Только баба Рая рассуждала иначе и не привыкла к тому, чтобы ее замыслы не осуществлялись. Вот так и вышло, что Тюменский театр кукол и масок взял да и занял весьма

внушительное место, потеснив другие экспонаты в разделе «Современность».

Раиса Николаевна была хорошей хозяйкой, всего у нее в музее было в избытке, и кукол, и масок, и фотографий спектаклей, и портретов актеров и режиссеров – да всех! Одним словом, перетащила реальный театр в некую виртуальную среду, в музейную зону, где он, кукольный театр этот, собрался пребывать вечно.

И вот – не хотите ли! – именно она, Раиса Николаевна, надумала открыть уголок Даниэля – и где! – в Тюменском краеведческом музее!

Юлия уже не было на свете. Он так и не узнал, чего удостоился.

А она взялась за дело всерьез. По всем правилам. Попросила образец рукописи, фотографию, какую-нибудь вещь из личного обихода. Так принято в музейном деле.

Правда, времена уже изменились, запрет на одиозное имя как-то сам собой улетучился – но не до такой же степени!

Однако она и директрису краеведческого музея убедила. И когда издательство «Московский рабочий» выпустило книгу прозы и лагерных стихов Ю. М. Даниэля, а я эту книгу Раисе Николаевне привезла, директор музея всерьез огорчилась – лучше бы мы ее издали, а не Москва!

Итак, музей тюменский запросил все, что в таких случаях положено:

рукописи;

фотографию;

какой-нибудь предмет из числа тех, что стоят на письменном столе всякого порядочного писателя.

Что ж, все было доставлено.

Так имя «Даниэль», столь долго запрещаемое, оказалось вписано в историю тюменских кукол и масок, память об этом и хотела сохранить Раиса Николаевна.

Дело же было так. В год Олимпиады (1980) в Москву на гастроли прибыли два тюменских спектакля, один поставил М. Хусид, другой – Ю. Фридман, один – «Пер Гюнт» Г. Ибсена, другой – «Карлик-нос» Гауфа. Так получилось, что художником там была я, о чем задним числом можно только пожалеть, да и не только тогда, но и сейчас: уж слишком жестоко все обернулось.

Хусид прорывался на передовые позиции авангарда. «Таких не знали небеса», как пелось в подарочной песенке, которую написал Даниэль.

И вот в театре Образцова были сыграны два тюменских спектакля. «Карлик» прошел на ура, «Пер Гюнт» вызвал скандал, и

какого масштаба!

В какой-то западной газете появилась заметка про сей спектакль, там упомянуто было, кто художник этого несчастья. Жена, мол, известного диссидента и так далее.

То ли власти были готовы к какой-либо провокации, то ли… Впрочем, откуда нам знать, «о чем думает старуха, когда ей не спится», и старуха в данном контексте, конечно же, Софья Власьевна.

Скандал разгорался на кукольном поле, кто-то подсуетился, подсказал, какие следует принять меры: следовало лишить должности Ирину Жаровцеву[5], единственное лицо, к тюменской истории никоим образом не причастное.

Логично. Но бог ты мой! Что тут поднялось! Министерство культуры визжало не унимаясь. ВТО выпустило некую особу – она чем-то руководила, кажется, кабинетом кукольных театров, впрочем, теперь не важно, так вот, у нее случился приступ чего-то, и она могла только целый рабочий день повторять одну-единственную фразу:

– Шифровка легла на стол, шифровка легла на стол…

Видная театральная критикесса про нас с Хусидом сказала: фашисты.

Пора оторваться от воспоминаний – тем более что у Юлия случился инфаркт. Потом их было множество, каждый следующий все более грозный. Но тот, первый, был имени Тюменского театра кукол и масок. И если Даниэль чего-нибудь боялся в этой жизни, только одного, и оно случилось: одно упоминание его имени взорвало что-то устойчивое… И вот, что теперь будет с Тюменским театром, с кукольниками, куклами, с Раисой Николаевной, наконец?

Вы не поверите: ничего не было. Ну, выговор бабе Рае, ну и все! Тюмень истерику столицы не поддержала. Решено было актеров глупостями не тревожить – как будто есть на свете тайна, которую не распознает театральный люд! Театр случившимся долго гордился, пока московское приключение не стало понемногу забываться.

Только Раиса Николаевна, как видите, не забыла, и потому… вот он, уголок Даниэля Ю. М. в экспозиции кукольного дела в Краеведческом музее города Тюмени. Так природа захотела, пел Окуджава. Так карты легли, скажут цыганки.

Я же уверена, Юлий гордился бы честью быть отмеченным в краеведении города Тюмени, в памяти нашего театра, в затее Раисы Николаевны Рогачевских, которой никак не выпадало ни по положению, ни по чину, ни по воспитанию, наконец, увековечивать его имя среди тюменских кукол.

«Ах, медлительные люди!»

Он был прирожденный поэт-переводчик и обитал не только в миру и в мордовской зоне, но и в сфере Поэзии. Поправьте, если ошибаюсь, но сфера эта есть, и поэты всего мира отправляют туда свои стихотворные послания, а переводчик, как фронтовой радист, эти сигналы ловит.

Вот он получает текст подстрочника, принципиально прозаический, и «метраж», как я его называю, – то есть графику стиха, его «скелет»; вот он погружается в облегченную разновидность транса (это тоже я так называю) и вслушивается внимательно в звук, не слышный мне. И…

Однажды трудный достался подстрочник, невнятный настолько, что переводчик позвонил:

– Юлий Маркович, я ошибся. Там в конце «скатал свой ковер» на базаре – это в том смысле, что умер. Извините, я сразу не догадался.

– Не тревожьтесь, я так и перевел.

Сейчас уже не понять, как и почему такая литературная профессия, как переводчик, стала самостоятельным высоким искусством, порой не уступавшим поэзии и прозе, не говоря уже о том, что иногда подлинник уступал переводу.

Художественный перевод в нашей стране оказался по стечению многих причин в положении не только особом, но и уникальном. Все началось в пору Серебряного века, когда русская культура устремилась к всемирности. Уповая на консолидацию сил искусства и литературы («Собрать краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур» – завет символистов), перевод с иного языка на русский становился делом чрезвычайно ответственным, за него брались большие поэты. И Брюсов переводил классическую поэзию античного мира, а Блок – средневековый миракль. Двадцатые годы в некотором роде наследовали эту всемирность, она совпадала с планетарными притязаниями молодых революционеров.

Русская школа художественного перевода сохраняла стремление к высокой планке мастерства. Издательство «Академия» издавало в переводах мировую прозу, мировая поэзия привлекла молодых переводчиков… После войны политический климат в стране становился все более суровым, излишне объяснять, почему Ахматова, Цветаева, Пастернак стали переводчиками. Пастернак перевел не только «Фауста» и «Гамлета», но и классиков грузинской поэзии. Борьба с космополитами вынудила многих поэтов искать прибежище в

переводах поэзии народов СССР. В Союзе писателей собирались регулярные семинары переводчиков. Приобщиться к их славному воинству было делом ответственным и серьезным.

К тому времени, когда Юлий стал получать заказы на перевод, в издательстве «Гослит» выходила том за томом мировая поэзия. Хочу заметить, несмотря на разрешение, спущенное Юлию «сверху», лучшие заказы он получал благодаря симпатии и горячей готовности прийти на помощь лишь от сочувствующих ему, – переводы шотландцев, испанцев и англичан он получал словно бы в знак солидарности и никого не подвел, кстати сказать… Когда он освободился, ему разрешили заниматься переводами только в одном издательстве. В ту пору «Худлит» издавал «БВЛ» («Библиотеку Всемирной литературы»). Во владимирской тюрьме Юлий переводил Аполлинера (Тоша Якобсон, получив заказ, поделился с другом подстрочником).

Разрешили! Как бы дали вид на жительство, и не только о заработке речь – поэтические переводы ему как воздух. Право же, он дышал ими. В «БВЛ» лучшие его переводы – Бёрнс и Мачадо. Шотландия – Испания.

Разрешить-то разрешили, только, взяв в руки свежую книгу, прочел он имя переводчика: Ю. Петров.

И уже много времени спустя Евтушенко пришел в издательство:

– Покажите-ка бумагу, где написано, что Даниэля быть не должно, откуда это – Петров?

Оказалось, нет такой бумаги. Было когда-то устное указание (откуда? – как откуда?). Но устное указание Женю Евтушенко не устроило, и вот наконец вышел том Гюго, а там «Спящий Вооз» переведен уже Ю. Даниэлем. Господи, да не все ли равно… Нет. Не все равно.

Публикации своих стихов и переводов Юлий так и не дождался. Впрочем, не могу сказать, что судьба об этом очень заботилась. Скорее наоборот. Когда он уже был болен – очень! – а в редакциях нескольких журналов лежали подборки лагерных стихов, только ничего так и не выходило, я позвонила Олегу Чухонцеву в «Новый мир».

– Простите, Олег, но все-таки: когда?

(Так важно, чтобы Юлик увидел!)

Олег сказал: тут очередь. Кого ставить вперед – Юлия Даниэля или Бориса Чичибабина? Ведь его тоже в «Новом мире» публикуем впервые…

Юлий, слышавший мой разговор, сказал шепотом:

– Конечно Бориса.

Да я и сама так думала. Чичибабин – поэт милостью богов,

впервые, за столько лет, в «Новом мире», что говорить! Юлий же и стихи писал только в неволе… Он иначе не ответил бы и мне не позволил. Да иначе и я не могла.

Позже публикация Ю. Даниэля из цикла «Стихи из неволи» появились. Но позже, чем…

– Ах, медлительные люди!
Вы немного запоздали.

Это Кедрин.

– Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.

Так у Б. Чичибабина, я ничего не перепутала?

«Без меня» – это без Юлия.

Но как меня ругала Ольга Окуджава, как ругала!

– Ты поставлена охранять Юлика и его интересы, а Бориса пусть его Лиля охраняет!

Ты права, Ольга, тысячу раз права. Только кто же поймет, что я защищала интересы именно Юлия.

Может быть, никто этого и не поймет, кроме него.

Рифмы судеб: Окуджава и Даниэль

Они были немного похожи – Булат Шалвович и Юлий Маркович. Оба худые, можно сказать, – поджарые. Походка легкая. Некоторая угловатость жеста смягчалась той пластичностью, какая свойственна человеку, происходящему от народов древних и южных, но оба были по природе своей москвичи, из племени московской интеллигенции. Одного поколения, оба – из школы на фронт. Школярами отвоевали. Оба были ранены, вернулись живыми. Не помню, чтобы Булат и Юлий погружались в военные воспоминания, но что-то их в этой общей точке судеб сближало.

Линии судеб рифмовались: после войны оба окончили институты (Юлий – в Москве, Булат – в Тбилиси), оба по окончании были направлены в провинцию, оба оказались учителями в школах Калужской области. В сущности, были в одинаковом положении и не так уж далеко друг от друга, еще друг о друге ничего не зная. Беглое первое знакомство не в счет – мало ли тогда приводили переводчиков в «Литературную газету» к Окуджаве.

И только потом, когда отгремел процесс, когда Юлий отсидел срок, а после отбыл год высылки в Калуге и наконец вернулся в Москву, – вот тогда они встретились по-настоящему, в самом начале семидесятых.

А в середине шестидесятых арест Синявского и Даниэля грянул внезапно, оглушив интеллигенцию. Мало кто поначалу знал причину ареста, но для многих время стремительно помчалось назад, в 1937-й год: каждый успел на миг прикинуть на себя арестантскую робу. Булат слишком хорошо помнил это проклятое слово «арест» – с ним связано уничтожение его семьи. Много лет спустя рассказывал, как отправился в зону, на братское кладбище заключенных, – отыскивать следы братьев отца. И нашел зэковскую ложку, на ней было нацарапано: Окуджава. Ну как он мог остаться равнодушным к участи арестованных? Конечно, подписался под коллективным письмом в их защиту.

В текстах Абрама Терца и Николая Аржака обвинители находили вопиющую антисоветчину. На самом деле подсудная проза содержала нечто куда более опасное для власти – она содержала в себе глоток свободы.

Отечественная литература впервые пробила железный занавес. Как показало будущее, пробоину заделать не удалось: наша литература стала просачиваться в мир, и с этим ничего поделать было нельзя. И когда два писателя оказались в

длительной неволе, литература об этом так или иначе заговорила – аллюзиями, эзоповым языком. Не знаю, писал ли Окуджава «Бедного Авросимова» под влиянием судилища над писателями, или сюжет романа оказался пророческим; знаю лишь, как жадно ожидали читатели очередной номер «Дружбы народов», как вчитывались, вникали в пространство между строк. Суд над Пестелем, каземат с тараканами, бедный Авросимов; как он, постепенно прозревающий, неожиданно для самого себя крикнул: «Я жалею об вас, жалею». Крик его был безмолвен. Безмолвна была и месть офицеров – месть предателю. Днем они несли вахту при суде, ночью пили, заглушая ужас. И били добровольца-стукача по щекам, не называя причину.

Даниэль писал в письме «оттуда»: «Сообщение о романе Окуджавы опоздало: я его читал. И тоже нахожу его весьма интересным. Особенно здорово выбрана – во времени – фигура рассказчика. Всё вместе: время и характер действия и время и позиция повествования – делает роман по-настоящему современным и серьезным (несмотря на всяческие арабески, впрочем, большей частью остроумные). И тем не менее книга выиграла бы, будь Окуджава строже к историческим реалиям – или если бы он плюнул на них вообще».

– Проза Булата – это проза милосердия, – говорил Юлий.

В лагерных письмах он сообщал, что поет Окуджаву. Еще сетовал, как мало поэзии ему достается: «Булата и Дэзика я хоть кое-что наизусть помню…»

Помнил, вспоминал и, конечно, никак не мог предвидеть, что в отдаленном будущем любимые поэты придут к нему на помощь. Будет это потом, когда Юлия лишат права переводить – бескровный вид наказания за поступок. И Булат, и Давид отдавали ему переводы, которые получали, – и работа Юлия являлась в свет под псевдонимами «Б. Окуджава», «Д. Самойлов».

А переводы стали для него не только заработком, но источником жизни: грозная болезнь нависала – переводы были панацеей.

Юлий просил обоих посмотреть сделанную работу. Дэзик отшучивался: «Ты что, у меня переводить не умеешь, что ли?» – Булат читал придирчиво, Юлий охотно поправлял переводы по его замечаниям.

* * *

Окончательно они сблизились в ту пору, когда мы сняли на зиму дом в академическом поселке Перхушково по Можайскому

шоссе.

Мы – это Юлик, наша подруга Марина Перчихина, собака Алик, кот Лазарь Моисеевич и я. Много белого снега (в Москве такого не бывает) плюс загородная оглушительная тишина, плюс «Свидание с Бонапартом» – такова была формула счастья в ту зиму.

Что касается поселка, то там вообще-то испокон века все были свои. Только мы чужие. А кто, спрашивается, их любит, чужих-то? Еще хуже того – репутация новоселов. Академический поселок затаился: под боком живет политический преступник. Газовщик, ходивший по дачам проверять котлы отопления, доверительно сообщил: «Они говорят, что у вас под кроватью рация спрятана». Для чего нужна рация под кроватью, мы так и не узнали.

Надо сказать, что вообще-то предубежденное отношение к Даниэлю было исключением. Обычно он, вернувшийся из неволи, всюду встречал сочувствие и симпатию – это, конечно, к делу не относится… Хотя, впрочем, почему же не относится? Еще как! Но об этом после. Сейчас же вот что: к Юлию приехал Булат.

Слух о визите Окуджавы разнесся моментально. Во-первых, потому, что при въезде в поселок его опознал некий почтенный профессор, оказавшийся по случаю в сторожке. Опознал и сообщил сторожу, кто приехал. А во-вторых, и это гораздо важнее: беседовавшие неподалеку от нашего дома две дамы своими глазами видели, как у крыльца остановилась машина, а из нее вылез сам Окуджава – вышел и гитару вынес. Да не просто же так он гитару таскает, значит, мало того что в гости приехал, еще и петь будет!

Так что после этого первого визита отношение к нам стало меняться. На межсугробных дорожках встречные стали осторожно раскланиваться, особенно в сумерки, когда не так видно, кто раскланивается и – главное – с кем. Тем не менее обращались исключительно к нашему псу:

– Хорошая собачка, хорошая!

И спрашивали именно хорошую собачку:

– А что, Булат Шалвович еще приедет?

Алик молчал, соблюдая конспирацию. Булат же иногда приезжал. Перхушково ему нравилось, он попросил, чтобы разыскали тут ему тихий домик – роман писать, и тихий домик чудом нашелся. Булат его снял на зиму и поселился неподалеку от нас.

И действительно писал, работал в ритме строгом и четком, но легко, без творческих мучений. Аскетизм быта ценил: никакой лишней вещи в его чистой комнате не было. А днем, если дремал,

укрывался всегда то ли пальто, то ли курткой – по-солдатски, как шинелью. Ну и конечно, вечерами, если не смотрел какой-то особый футбол по телевизору, заходил к Юлию, приносил главы романа, одну за другой. Это и было «Свидание с Бонапартом».

Я же, возвращаясь вечером из Москвы с работы в холодной электричке, гадала: принес – не принес?

Сейчас, перечитывая роман в которой раз, снова вижу перед собой обжитую нами перхушковскую кухню, древнюю клеенку на круглом столе, отмытую содой, протертую специальной тряпкой, покрытую салфеткой, – это мы с Мариной, допущенные к чтению, отправляли ритуал, разложив драгоценные страницы Булатовой рукописи. Нет, машинописи, конечно, но так отчетливо слышалось дыхание минувшего времени, что иначе не скажешь: рукопись. Роман рождался на наших глазах, и мы следили, затаив дыхание, как растет Булатова проза.

Юлий читал первым у себя в комнате. Порой после прочтения шел к Булату – то ли обсуждать, то ли за очередной порцией. Замечания тот выслушивал внимательно, но не думаю, что спешил что-либо менять. Да и вряд ли Юлий придирался. Впрочем, нам с Мариной не часто выпадало слышать их литературные, а точнее, рабочие беседы: все-таки оба были профессионалы, а по цеховым давним традициям ремесленные тайны для сторонних ушей не предназначены.

Булат иногда уезжал в город и привозил книги, нужные для работы. Приносил нам – почитать. Например, мемуары Луизы Фюзи, французской актрисы, ставшей прототипом Луизы Бигар, которая получилась в Булатовых мемуарных текстах в гораздо большей степени француженкой, чем в ее собственных мемуарах. По крайней мере, на русский вкус.

Сейчас уже не восстановить, что из реалий московской жизни 1812 года было взято Окуджавой из подлинных мемуаров мадам Фюзи и что увидел он сам в пространстве своего романа. Но могу поручиться, что знаю, где на Поварской стоял дом, в котором в 1812 году жила Луиза.

И так мы были захвачены этим чтением в ту зиму, что тень Бонапарта вдруг проявилась над деревней Салослово – через шоссе. Произошло это так: мы подружились с Евдокией Кулагиной, или бабой Дусей. Если я долго не приходила, она ковыляла к нам, оставляла записку: «иРа в чОмде-Ло?»

Вот она и рассказала про французское кладбище. Было оно, было – когда она, молодая, далеко и легко ходила, и там на памятниках по-французски было написано…

– Дуся, а ты по-французски-то читать умеешь?

– А то нет! – Дуся была амбициозна и не допускала досужих

подозрений, оберегая свой престиж. – На памятниках, говорю, написано было буквами французскими, да и старые люди сказывали: это, мол, еще с той войны.

– А где кладбище-то?

Но Дуся позабыла.

Когда роман был опубликован, в последней строчке стояло: Салослово, сентябрь 1979–февраль 1983.

Наверное, Окуджава не просто так поселился в маленьком домике именно в этих местах, чтобы писать роман о 1812 годе.

Под Новый 1980-й я заказала бабе Дусе кукол для подарков под елку. Дуся их шила как бог на душу положит – были они неуклюжи, нелепы, неимоверны; но такая в них ворочалась первобытная мощь! Булату досталась лошадка. Она вошла в состав той зимы.

В те дни, когда Окуджава брал отпуск от труда, мы могли ожидать, что он придет с гитарой.

По поселку бродили интригующие слухи. Ведь если Булат Шалвович пойдет к Даниэлю не просто так, а с гитарой… И хотя нас все еще следовало сторониться, – но Булат, но Окуджава, но песни его! Да пропади всё пропадом! Может быть, стукнуть? В том смысле, что постучать в дверь, просто, по-соседски, как ни в чем не бывало: «Мы тут мимо шли… решили на огонек…»

К самому же, если встретится на пути, – не подступиться: замкнут, насторожен. Не подпустит близко – это видно. Да вот и сам он, легок на помине, запирает домик, идет – но без гитары! Но с ним женщина! С ребенком на руках, здоровый малый, закутан в шаль. И шагают как раз к Даниэлю.

А дело было вот в чем. Обычно о вечере «концерта» Булат сговаривался заранее – тогда к нему шла Марина с огромным серым платком – гитару прятать. Проделка срабатывала; «на огонек» никто не напрашивался. Окуджава не один, неудобно.

И он пел песни – такие знакомые, но слушались, как впервые.

Из воспоминаний Юлия: когда-то они с Ларисой (тогда женой) допустили немыслимую для семейного бюджета роскошь: купили магнитофон «Днепр», поскольку добыли песни Окуджавы. Песни имели вид ленты, узкой, темной, шуршащей.

В ответ – воспоминания Булата о том, как приятельница поведала ему, каким образом ее соблазнял преуспевающий поэт, приглашая в гости: «У меня, говорил, есть армянский коньяк и двести метров Окуджавы» (реальное количество метров, конечно, не помню).

Булат не любил славу и зорко следил за тем, чтобы она не нарушала границы его личного, а тем более творческого пространства.

Вернее, так: он не любил свою славу, – но он ее ценил. Именно она выдала его песням «вид на жительство», она же, разросшись до всемирных масштабов, ограждала от заказных рецензий, а может, гонений. А ведь он, кавказский человек, не прощал оскорблений. Не забыл, как в прессе его называли «пошляк с усиками». Не позволил себе забыть, как освистывали его когда-то в Доме кино. Рассказывал, как позвонили оттуда недавно, пригласили его, уже знаменитого барда, а он объяснил, почему ноги его в этом Доме не будет. И, пересказывая, вдруг на миг стал не московским интеллигентом, но «лицом кавказской национальности». На Кавказе оскорблений не прощают.

А вот еще эпизод, для него характерный. Мучила какая-то болезнь – у него их много было, но эта сильно терзала. Тбилисские друзья-писатели направили его к Джуне, знаменитой тогда целительнице. Она открыла собственный прием на Арбате, вся страна рвалась туда лечиться, и Чабуа Амирэджиби, позвонив из Тбилиси, похлопотал за Булата. Оказалось – зря хлопотал. Когда Джуна увидела Окуджаву в хвосте очереди, то закричала:

– Да как же вы – вы! – в очереди стоите! Проходите сюда, прошу! – И очередь, узнав его, расступилась, пропуская. А он круто повернулся и ушел.

Юлий свою известность переносил беспечно, не придавая ей значения. Никогда не слышала, чтобы рассказывал кому-нибудь, как наша пресса изощрялась: «Наследники Смердякова», «Идеологические диверсанты».

Известность? Да, конечно, – соблазнительное блюдо, но с горькой приправой: ему приходилось бдительно следить, чтобы контакты с ним не навлекли неприятности на головы тех, кто с открытой душой бросался навстречу. Да как уберечь?

Ведь слежка была. Отслеживали, куда бы мы ни отправились, – хоть в Баку, хоть в Таллинн. В Москве, разумеется, тоже глаз не спускали. Так и жил он – между любовью людей и слежкой нелюдей.

Но сейчас про Окуджаву. Он и Даниэль были – если вспомнить Тынянова – «архаисты». Ценили традиции, к авангардистам относились настороженно. Удивительно было слышать от Булата, что в театре он более всего любит спектакли А. Дунаева на Бронной: там чай пьют… А новаторских постановок не жаловал.

Тут они с Юлием дружно начинали воевать со мной. Оба не то чтобы испытывали потребность в спорах – для них существенно было определить свою позицию. Наверное, самое время и место припомнить один разговор, при котором мне довелось присутствовать и даже, вопреки мною же заведенной

традиции, вмешаться.

Важный разговор был. Начал Булат:

– Юль, а кстати, если б сейчас снова революция, а у нас с тобой уже есть опыт, наше знание истории, – с кем бы оказались сегодня? С белыми или с красными?

Тут же выяснилось – сын пламенных кавказских революционеров ушел бы в «белый стан» (вот вам и «комиссары в пыльных шлемах»!).

Что же до Юлия, все оказалось сложнее. Он пустился в длинное рассуждение. «За» и «против». Тут я позволила себе:

– Юлинька, ты о чем? Кто это в Белую гвардию еврея взял бы?..

Посмеявшись, эту тему оставили. Но после Юлий, мой злостный антисоветчик, сказал:

– Знаешь, все-таки на том историческом переломе был бы с красными.

Додумал-таки до конца.

* * *

А когда железный занавес рухнул, друзья разъезжались в открывшийся мир – и, уезжая, умоляли Юлия тоже ехать, он отказывался.

– Ты что – что тебе тут светит? – спрашивали, объясняя выгоды жизни человека с его биографией в «цивилизованных» странах.

Отвечал коротко:

– А неохота.

Не знаю, что в таких случаях отвечал Булат. Но ведь тоже – не уехал. Рассказывал, как в свое время, еще советское, был приглашен с выступлениями в Париж, как его предупредили, чтоб не вздумал общаться с эмигрантами, и как он по приезде тотчас же позвонил Виктору Некрасову, а увидев его со сцены, сбежал вниз, бросился обнимать: да черт с ними, ну не пустят больше…

Как-то Некрасов позвонил нам из Парижа:

– Спасибо, Юлий!

«Спасибо» – это за открытое письмо Юлия после публикации И. Шафаревича в «Русской мысли». Тот клеймил эмигрантов. Уехали, мол, добровольно, не выдержали давления, лишили себя возможности внести свой вклад в культуру.

Там, в иных странах, письмо Шафаревича произвело впечатление. Эмигранты почувствовали, что отношение к ним меняется. Кто-то даже лишился работы… Синявские звонили из

Парижа, говорили, что все серьезно.

Даниэль написал в «Русскую мысль». Открытое письмо Шафаревичу. Заступился за эмиграцию. И что странно – подействовало! «Наши» звонили из Америки, из Израиля, даже, по-моему, из Австралии: спасибо, Юлий. Их положение стало меняться к лучшему.

Но вот о положении самого Даниэля этого нельзя было сказать. Невидимые власти, глаз с него не спускавшие, письма не простили. Он остался без работы, без переводов. Выручали друзья. Первым делом, конечно, Булат. Помню, тогда вышел сборник стихов Д. Варужана – переводил Даниэль, скрытый именем Окуджавы. Так они побратались.

А здоровье ухудшалось. Мы кочевали из больницы в больницу. Вернувшись домой, Юлий все реже вставал, все чаще лежал, читал, уже не выходил к гостям, не хотел, чтобы его теперь видели. Потому, когда Оля и Булат заехали, получилось – ко мне, а не к нам. Держали совет: как быть? Без переводов Юлий умирает, врачи же запрещают работать.

Сидели втроем на кухне, заваривали крепкий чай, и тут – звонок из Парижа. Умер Вика Некрасов. Было это 3 сентября 1987 года.

Рыцарь чести, как называл его Даниэль.

Юлий умер через год.

* * *

После смерти Юлия Булат время от времени звонил, при встрече говорил: «Вы хорошо выглядите» (к моему виду это никакого отношения не имело). Не забывал дарить свои новые книги.

Узнав, что отправляюсь по театральным делам в Нижний Тагил, просил зайти в дом Шалвы Окуджавы (там сейчас музей) – узнать, не сохранилась ли какая вещь или какие-нибудь бумаги. Шалва Степанович, направленный в свое время на руководящую работу в Нижний Тагил (парторгом), избранный затем первым секретарем Тагильского горкома, в тридцать седьмом был арестован, расстрелян, а теперь удостоился мемориальной доски на стене скромного домика-музея.

Оказалось, из подлинных вещей в музее есть только стул, отцу принадлежавший. Простой, рядовой, скромный. Мне его отдавали:

– Если для Булата Шалвовича, то конечно…

Я не взяла. Не могла. Ведь до возвращения в Москву я должна

была попасть еще в несколько уральских городов.

* * *

А страна менялась. Все менялось – и как!

Когда-то Окуджаву не выпустили в Испанию, потому что на анкетной фотографии он должен был быть в галстуке. А Булат галстуков не носил. Не уступил. И не полетел.

Когда-то, впервые попав в Париж на запись своей пластинки, он накануне обратного вылета, поздно вечером получил гонорар и рассказывал – как потратить? Пришлось ехать в ночной магазин «Тати», типа барахолки – и что-то несусветное кидать в коляску! Теперь же Ольга в Париже со знанием дела выбирала старинных, породистых кукол для своего музея.

В общем, все хорошо. Концерты идут по всему миру с неизменным успехом.

И вдруг Оля звонит: что-то никак не ладится здоровье Булата, нет ли хорошего врача.

– Ну, записывай телефон, это Лена.

Настал черед последнему созвучию судеб Булата и Юлия. Точка пересечения пришлась на доктора Елену Юрьевну Васильеву.

Она несколько лет вела тяжелого пациента Даниэля. Забирала к себе в больницу, а в последние месяцы, самые трудные, приезжала к нам после работы почти каждый вечер. Когда же ей сообщили по телефону о его смерти, – примчалась, вошла и потеряла сознание. Теперь ее пациентом стал Булат.

Последняя трагическая поездка в Париж через Кёльн описана многократно. Хочу лишь отметить жуткую гримасу рока.

В Германии Булат и Ольга навестили Льва Копелева. Тот был болен: то ли грипп, то ли простуда, то ли бронхит. Неизвестная бацилла накинулась на Булата. (А ведь – кто разгадает потаенную линию судьбы: в свое время Лев Копелев написал о докторе Ф. Гаазе под именем Окуджавы, иначе не печатали.)

Оля звонила из Парижа.

– У Булата грипп…

– Булату хуже…

– Булат в госпитале!

Лена металась:

– Да, по его общему состоянию ему ничего нельзя, кроме того, что я прописала. Они же там, в госпитале, этого не знают!.. Вот что, лечу в Париж.

– Лена, а виза?

– Да я в Шереметьево историю болезни покажу. Скажу: я врач его – кто меня к Окуджаве не пустит?

Она лихорадочно собиралась, я должна была ее проводить. И позвонила:

– Поздно, Лена. Только что передали… Поздно.

Было 12 июня 1997 года.

Всенародное прощание с поэтом шло на Арбате. На Ваганьковском были только близкие, друзья – постаревшие, потерянные. «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты» – так и было тогда, в самом начале, когда их связали друг с другом песни молодого Булата.

Похороны были организованы по высшему разряду: новые правители знали, кого потеряли. Священник отец Георгий Чистяков сказал слово, исполненное скорби и деликатности. Вдруг появилась процессия со свечами, с пением – высоким, печальным, гортанным; так до сих пор и не знаю, кто они были: грузины? армяне? (армянское кладбище рядом). Но кто бы они ни были – это Кавказ провожал своего поэта.

Когда последние пласты земли легли над Булатом, я прошла к другой могиле. На памятнике надпись:

ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ
1925–1988

И было море

Говорить, о Юлии, можно долго, а чувство, что главного так и не сказала. Есть такая формула – дьявол в мелочах. Но ведь ангелы тоже. Хочу закончить эпизодом, который, может быть, никому ничего не скажет, а мне – очень многое.

Первый отпуск вдвоем. Вначале даже не верилось. Как это так? Для Юлия ничего лучше моря и быть не могло.

Приехав с рекомендательным письмом от некого издательского фотографа, мы оказались в жилище ветхом, но просторном, там обитали две старушки. Бывшая хозяйка и бывшая служанка. Сказали: можете пожить у нас, пока не приедет писатель Михалков, вы ведь знаете, кто он?

Мы хором кивнули.

– А тогда найдем вам что-нибудь другое. Пока же вот комната. И мы открыли осевшую, еле живую дверь. Комната была велика и пуста. Что-то посредине вроде ложа, что-то в углу вроде буфета.

Хозяйка прохромала через пустынное пространство к противоположной стене – и… открыла море.

Я застыла.

Юлий же прямо туда пошел, на ходу раздеваясь, – в море! За дверью! Даже не помню, отделяла ли нас полоса глины…

А он уже плыл, он уже отдыхал на спине – и не было во всем мире и море человека счастливее его.

Однажды спросила: ты что же, лес вовсе не любишь?

– У меня вся любовь к природе на море ушла.

Потом одна из старушек, та, что была когда-то служанкой, куда-то сходила, с кем-то сговорилась на другом краю поселка, и мы перебрались. Теперь до моря было несколько минут неспешной ходьбы, зато пляж наш собственный. Если какой-то прохожий решал опрометчиво пляж пересечь, хозяин домика тут же появлялся и укорял неизвестного:

– Совести нет, не видишь – люди отдыхают?

Мы были одни. Поначалу даже уши закладывало от тишины небывалой.

В обед я жарила рыбу – хозяин оставлял ее в ведерке под верандой. Он много не разговаривал. Хотя нет: однажды вдруг рассказал, как шпиона изловил и повел к пограничникам. Шпион ему семьсот рублей предлагал; что он ответил, помню дословно:

– Я, говорю, родину не продаю, да и семьсот рублей не деньги.

Такая жизнь. Сказочная и беспечная. Мы отдыхаем, на другом

конце поселка патриарх Михалков, – говорят, с дамой, но это уж нас совсем не касается.

А патриарх все-таки касается. Дело в том, что он должен был стать общественным обвинителем на суде, да казус вышел. Казус замяли, но и в обвинители теперь не годился. Перед зданием суда в толпе сочувствующих Синявскому и Даниэлю ко мне подошла незнакомая женщина «из своих».

– А вы знаете, что в Союзе писателей бардак?

– Да кто ж этого не знает!

– Нет, не в переносном смысле!

Поговаривали, что Михалков как-то к этой подпольной (не в переносном смысле) организации (надо же!) был причастен и потому не был допущен блеснуть на суде во всем великолепии. И теперь то обстоятельство, что Михалков и Даниэль оказались обитателями этого в сущности необитаемого острова, было курьезным.

– Может, ночью пойдем петь под окном серенаду? «Союз нерушимый республик свободных»?

– Да ведь у меня слуха нет.

Мы веселились, мы были беспечны, мы были вдвоем.

Впрочем, как раз не вдвоем, и вот об этом я хочу рассказать.

Когда вечером выходили на море посидеть на теплом песке, с нами приходил пес хозяйский, в репьях и клещах. Скоро и другие собаки поселка приходили смотреть на закат.

Непонятно, что происходило в собачьем мире, но честно скажу – они к нему приходили, а не к нам. Меня только терпели. Или не замечали. Так мы сидели на теплом песке в окружении стаи. А стая все увеличивалась, и уже, кажется, все собаки поселка сидели с нами, а потом провожали до самой калитки. И только хозяйский пес провожал Даниэля до крыльца.

– Когда-нибудь я уйду от людей, – неожиданно сказал Юлий, – и буду кормить собак.

Дома в Москве нас поджидали Алик, черный спаниэль, а также кот Лазарь Моисеевич, уж они-то рассказали бы вам, какой Юлий был замечательный создатель еды для зверья.

Последние сутки в приморском раю лил сумасшедший дождь. Оказалось – под нашей верандой вылупились котята, и много их было. Они замерзли, промокли и плакали. Пришлось их всех забрать к себе, так что последнее воспоминание о Приморском было: компресс из котят.

Рай на то и рай, чтобы было солнце, море, звери. Но…

– Когда-нибудь я уйду от людей…

Что же это было?

Напрасно кольнуло в сердце, напрасен был мгновенный укус

страха.

До этого не дошло.

Все кончилось раньше, не стало Юлия.

Но прежде чем его забрала смерть, ушли наши звери.

Алик умер, Лазарь пропал в лесу под Перхушковом.

Господи! Неужели же не смогу я просто вспомнить то море, ту тишину и того Юлика – предводителя стаи.

Был он смугл, тонок, в шортах, а псы – в репьях.

Да неужели все это было…

II. Группа риска

О Михаиле Михайловиче Бахтине

Мне выпало общаться с Михаилом Михайловичем в разное время. Я и сегодня не знаю, как оно случилось, что, прочитав книгу о карнавальной культуре, во что бы то ни стало решила повидать автора. И как объяснить, зачем совершилось мое паломничество – как ни крути, оно и выходит, что именно паломничество. Просто нельзя не пояснить, почему вообще возникла довольно дикая идея: к нему отправиться с тем, чтобы задать один-единственный вопрос – про мистерию. Просто необходимо вспомнить, каким было расположение звезд, ответственных за земное искусство, к тому часу, когда бахтинский карнавал въехал в советскую действительность на белом, как говорится, коне. Необходимо напомнить, чем была для нас небольшая книга в желтом солнечном переплете – про Рабле, про его роман, про народные обычаи Европы, про карнавальную культуру.

Во-первых, сам по себе карнавал Бахтина был, как мы понимали, открытием нобелевского масштаба. Оказалось, она, эта карнавальная культура, свойственна человечеству как дыхание и пища, как жизнь и смерть. И предстал карнавал подобно граду Китежу или затонувшему городу из «Путешествия Нильса» – он тоже в урочное время появлялся из вод и «на суше», а потом уходил вновь в пучину, чтобы с космической предопределенностью снова всплывать из вод забвения. Как некое стозевное чудище появляется невесть откуда, хохочет или провоцирует хохот, жрет безудержно и вдруг проваливается на самое дно человеческой истории. Или глубже… Homo sapiens в час карнавала отдыхает от цивилизации.

Во-вторых, именно в ту пору, когда появилась книга Бахтина, острота и чуткость нашей реакции на темы массовых репрессий еще не притупились, а потому человеческие страдания автора вызывали горячее сочувствие к участи ученого. Бахтин был арестован давным-давно, потом сослан, потом прочно забыт до самого появления книги. И при этом книга никак не напоминала о лишениях и страданиях – напротив: она свидетельствовала о торжестве неистребимого веселья.

А в-третьих, в тех же неземных департаментах, где намечалась участь искусства, происходило великое сближение крупных планет. Навстречу труду о Франсуа Рабле уже был готов перевод романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», блистательный труд Н. М. Любимова. Поразительно, что они вышли в свет едва ли не одновременно, эти два исполинских труда. Если и с различием во

времени издательском, то одновременно в историческом измерении – что такое, в самом деле, разница в пятнадцать лет!

«Благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу Н. М. Любимова, – писал Бахтин, – Рабле заговорил по-русски, заговорил со всей неповторимой раблезианской фамильярностью, со всею неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности».

Он особо чтил смеховую природу человека, выносившую его за собственные пределы, придавая личности другое измерение, провоцируя лицедейство. Людей, лишенных от природы чувства юмора, называл «агеластами». Притом сам Михаил Михайлович не являл собою образ юмориста. По крайней мере, ни шуток, ни острот, ни каламбуров мне от него слышать не довелось.

Первая встреча

Лева Шубин[6] дал адрес. Он туда ездил, в этот самый Саранск, где оказался Бахтин. Саранск – мордовский город, а в ту пору у нас на слуху были мордовские лагеря – там отбывали сроки Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

На саранском вокзале мимо меня провели черную колонну зэков: да неужели?.. Но нет, ни Юлия, ни Андрея среди них не было.

И вот я стою на лестничной площадке дома на улице Советской, зажав в руке бумажку с адресом; никто не открывает. Не открывает так долго, что успеваю впасть в панику – да я с ума сошла, не иначе, как это: здрасте, я ваша тетя! С какой стати приехала…

За дверью тишина, на площадке, запущенной и какой-то сиротской, пахнет кошками, и никто не собирается открывать… Тут вспомнилось – мой прадед в студенческую пору пешком шел в Ясную Поляну спросить, в чем суть. Дошел, звонил в колокол. А вышел не граф, а Софья Андреевна и отправила искателя истины обратно в Кишинев, оберегая покой великого старца. Пересказывая друзьям это семейное предание, я всегда добавляла беспечно: с тех пор никто у нас в роду этим вопросом не интересовался. И вот ведь сглазила, стою теперь на лестнице, хотя вопрос у меня другой. Но точно сглазила. За дверью тишина.

Постучала в квартиру напротив, открыла молодая женщина, оглядела даже не неприветливо, просто враждебно.

– А никого там нету, ни его, ни ее, в больнице оба, потому что никому не нужны… Адрес? А вам зачем? Да ладно, так уж и быть.

(Не хотела возвращаться к этой особе, но все же вернулась,

потом, когда уже повидала Бахтина, после больницы, перед поездом, – и она объяснила, в чем было дело.

– Я как увидела, так и подумала – племянница это, вспомнила наконец-то, явилась! А старики совсем брошены…

– Да почему племянница?

– Да вы на него лицом похожи.)

Мелкое это происшествие отвлекло от главного.

Мой вопрос, едва переступила порог больничной палаты:

– Мейерхольд говорил, ось трагедии – рок, а полюса этой оси – мистерия и арлекинада. Так вот: я в молдавском селе наблюдала новогодний праздник, нет, празднество; там короткое трагическое действо, называется Маланка. Это театр такой, а к нему еще целое стадо развеселых хмельных комических старцев – шутки, сценки комические. Там трагедии, то есть мистерии, – всего ничего, а карнавального разгула с избытком, но все едино, монолитно. Почему в учении о карнавальной культуре (в вашем учении, Михаил Михайлович) тема мистерии отсутствует – почему? Они ведь зеркальны друг к другу, и…

Боже, что я несу и вообще о чем я… Ведь не о театре же он писал! Совсем не о театре его книга… Но он сразу понял и сразу ответил:

– У меня на мистерию жизни не хватило.

Так я впервые узнала, что есть темы, измеряемые жизнью. И как ненавязчивое пророчество прозвучало в этом странном ответе, что и моя жизнь в каком-то смысле будет измеряться Маланкой. И действительно: чем бы ни занималась многие годы, все равно рано или поздно возвращалась мыслью туда, в молдавское село, где под Новый год из дома в дом быстро проходят парни в сапогах, ряженные неимоверными царями, а следом, кривляясь и всячески непотребствуя, поспешают «моши», комические старцы, и ведут себя ну прямо согласно предписанию Бахтина.

Но все же, что было в тех словах «у меня на мистерию жизни не хватило»? Поняла так, что вся жизнь пошла без остатка на карнавальную культуру, на арлекинаду в переводе на язык театра. На торжество смеха.

Мне и в голову не пришло взять с собой книгу, слишком ею дорожила. Потом выяснилось – все к Бахтину ехали с книжкой, за автографами. Я же вместо интеллигентного жеста с книгой явилась как-то по-деревенски, с подарками.

Во-первых, привезла маску «моша», во-вторых, домашнее печенье (до сих пор неловко вспоминать – не успевала сама, пекла соседка, прониклась значительностью поездки к двум старикам).

…Оба они, и он, Михаил Михайлович, и она, Елена Александровна, занимали так мало места в пространстве, что палата казалась просторной. Она передвигалась по стенке, прижимаясь, как тень, раскинув руки, – легка, бесплотна, бесшумна.

У него были ноги как у верховых Петрушек, когда те, шустрые и живые в действии, сидят на краю кукольной ширмы, свесив мертвые ножки.

Глаза у него крупные – у старых людей таких не бывает, зоркие и внимательные, хотя темная глубина их утратила блеск. Отчетливо выделялись скулы, чуть азиатские.

Мой вопрос воспринял так, будто всякий и являлся к нему, чтобы уточнить кое-что про мистерию и арлекинаду. Маска же, привезенная из молдавского села, хранила запах морозного хлева, овчины и соломы. Была она жуткая и косматая, с выбритыми синими щеками, с дикой бараньей гривой, с козьим рогом. Из весело оскаленной пасти торчали фасолины зубов, редкие и страшные. Словом, не приведи бог – нянечки увидят. О том, что персонал испугается, я не подумала. Он же, конечно, узнал – так и предназначено выглядеть персонам карнавала. Чем страшнее, тем смешнее. Хотя Бахтины не смеялись.

На станции Гривно

В очередной раз отправилась к Бахтиным, заметно осмелев и, кажется, написав главу своей, с позволения сказать, диссертации, – только возможный разговор про главу был скорее поводом к поездке. Причиной же была дыня. Дело в том, что у меня оказалась чудесная азиатская дыня из самой Голодной степи, ее и следовало доставить Бахтиным. Я была не в одиночестве – со мной ехал сын Павел, школьник: человек застенчивый и немногословный. Ехать в Бахтину боялся, я – уже нет. Дыня воодушевляла.

Путь наш лежал на станцию Гривно. В дом престарелых. Попросту говоря – в богадельню, куда определили Бахтиных, беспомощных в быту.

Но я, конечно, не представляла, что такое наш отечественный приют на самом деле. Приют был пропитан обреченностью и тоской, печалью запущенной старости.

Оба не жаловались, но были угнетены. Без особых усилий можно было догадаться – жизнь не особенно баловала их жилищными условиями, но в Гривне к проблеме проживания примешивалось что-то еще, не знаю, как сказать. Может быть, ошибаюсь, но показалось так. Уже была первая книга, признание,

и даже если они ни на что не рассчитывали – невозможно, наверное, не ждать какого-нибудь выхода из тупика. Выход же оказался богадельней, последним приютом угасающих старух.

Хотя руководство дома престарелых очень старалось проявить уважение. У Бахтиных была жилая комната, но, кроме того, ученому выделили отдельный кабинет с письменным канцелярским столом, с креслом; пусть занимается своей наукой! Он нас специально водил этот кабинет показывать. Шел по коридору на костылях. Шли костыли, мертвые ноги волочились.

Кажется, мы вернулись в жилую комнату. Он достал откуда-то большую папку с гравюрами, гравюры привез Эрнст Неизвестный. К стыду своему не могу вспомнить, что именно, может быть, серию «Достоевский». Помню только, что гравюры были словно опалены отчаянием, гневом, чувством катастрофы, от них исходил пафос протеста против неведомой силы, злобной и жестокой. Но как свободно понимал Михаил Михайлович язык дерзкого искусства авангардиста. Неизвестный ему нравился – впрочем, чему удивляться. В его долгой жизни был Витебск, а значит, так или иначе и Казимир Малевич, и Марк Шагал. В Москве шуршал деликатный шепот, будто в Елену Александровну был влюблен Шагал, она же выбрала Бахтина. Слух этот обладал серьезностью мифа. Мне никогда не приходило на ум проверить.

Она все так же прозрачной тенью скользила, прижимаясь к стенам, очень редко включалась в общий разговор.

…Говорили об авангарде. О том, как пробивала задушенная память о Мейерхольде глухие годы запрета и забвения. О том, как Мейерхольду была нужна – да просто необходима! – комедия дель арте. Как этот старинный итальянский площадной театр оказался необходимым режиссеру при прорывах в новое искусство, по сути в будущее. Вспомнили Вернон Ли – это маски спасли Италию, когда ей грозило исчезнуть с карты Европы…

Михаил Михайлович говорил про веселую инфернальность персонажей итальянского площадного театра, инфернальность придавала фиглярству уличных комедиантов глубинное измерение. У них где-то есть бесенок, кажется, Аллекино…

Вдруг мой Павел, до того молчавший по причине непробиваемой застенчивости, что-то уточнил в этом пункте разговора взрослых, про того самого бесенка. Бахтин сказал с удовольствием – как это хорошо, когда такой молодой человек… Знания…

– Нет-нет, – испугался мой школьник, – никакие это не знания, просто я с детства любил рассматривать гравюры Доре к «Аду» Данте.

Увернулся-таки от похвалы будущий профессор, историк

медиевист. Наш разговор стал легок настолько, что сегодня мне не верится – неужели я осмелилась привезти ему свои страницы, увы, столь далекие от совершенства. Боюсь, что-то в этом роде имело место. Во всяком случае разговор шел «по тексту».

Среди прочего Бахтин сказал с неожиданной жесткой резкостью:

– Самое губительное – это подмена мистерии митингом. Хуже митинга на театре ничего быть не может.

Испытание пряником

В третий раз я отправлялась к нему в совсем другое место. Уже к нему, а не к ним.

Почему-то память на этом месте сбивается, осталось впечатление вряд ли верное. И не так далеко оно было, как мне казалось, – был это Дом творчества писателей в Переделкино. Писательский дом, уж как-нибудь не богадельня в Гривне. Бахтин же пребывал в состоянии раздраженности, может быть, оно отвлекало от великого горя.

Дело было в том, что там к завтраку давали черную икру, это и приводило Михаила Михайловича в смятение, раздражало сверх меры. Реакция была неадекватна мелкому блюдцу с деликатесом. Дело, думаю, не в капризе, а в чем-то еще, что находилось за пределами блюдца. Казалось, в таком завтраке было нечто принципиально враждебное, относящееся к чему-то более неприемлемому, чем еда.

Между тем переселение из народной богадельни в привилегированный рай вряд ли случилось просто так, само по себе. Кто-то должен был хлопотать, кого-то просить… Во всяком случае, некто старался, чтобы было как лучше, – ему же в раю оказалось едва ли не хуже. Рай оказался чужим, чуждым, враждебным.

Разговор затухал, не успев разогреться, соскальзывал с темы, блуждал в других полях и вдруг направился в сторону человеческой природы.

Тут можно было «заболтать», заговорить, отвлечь в сторону – и я поведала о том, как их соседка в Саранске приняла меня за его племянницу. Наверное, дело было в неясном восточном акценте, если в лицах вообще может быть акцент. Он оживился, соседка уловила признак Азии, впрочем, у кого в России его нет. Несмотря на высокий род Бахтиных, глубоко укорененный в русскую почву, и вообще он из Орла…

– А вы?

– Нет, мои предки были в Бессарабии, куда (смутно помню

рассказ старшей родни) пришел некто Бахта, татарин, от него пошли Бахталовские. Ну татарин или нет, там всех других держали за татар, но мой друг Юрий Симченко, в ту пору еще студент-этнограф, говорил – было такое малое племя в Сибири… (Да о чем только не будешь болтать, заговаривая зубы и отвлекая!)

– Вряд ли, – сказал Михаил Михайлович, – вряд ли, скорее слово это имеет отношение к духовному сословию.

Ошибка соседки отвлекла и, может быть, даже развлекла на пару минут, спасибо ей, женщине из города Саранска…

Я и представить не могла, сколько всего случится в скором времени и как нескоро его увижу.

В Москве

Тут в моей жизни стало происходить нечто значительное, нечто ответственное, и я надолго – или так только казалось – потеряла из вида Михаила Михайловича. Не в оправдание, но закрутило щепкой в водовороте, и все равно – оправдания нет.

Однако вести доходили. Он переживал потерю единственной родной души очень тяжело, да иначе и быть не могло. Еще известно было, что произошел переворот в его биографии и он оказался в Москве. В своей собственной квартире у метро «Аэропорт», на улице Красноармейской. Что за ним ухаживает какая-то заботливая женщина. И что он окружен вниманием круга университетских людей во главе с В. Н. Турбиным.

Турбин был аспирантом, когда я пребывала в студентах; но мы были знакомы достаточно для того, чтобы я ему позвонила узнать про Бахтина. Он принялся рассказывать подробно и охотно. Вел семинар, не помню какой, куда и взял дочку Андропова и, кажется, дал ей тему, связанную с трудами Михаила Михайловича. Осуществлялся стратегический план, в итоге – квартира и прописка! Но и студентка не в убытке: прикоснуться к мыслям великого ученого в ранней юности – большая удача. Словом, удалось преодолеть бюрократические преграды и даже грозную власть поставить на службу Благому Делу.

Вот только оказалось – переселить Бахтина в столицу совсем не просто: множество осложнений возникало с его стороны. Он сопротивлялся. Почему-то категорически фотографа не пускал. Что-то имел против фотографов. Все это осложняло и без того муторную бюрократическую волокиту. Наверное, после смерти Елены Александровны все движения, все жесты по организации быта, да еще и непривычного, его раздражали, отвлекали от безучастности, от безразличия к жизни. Проще говоря, помогать

ему по-настоящему было совсем не просто, да еще он спорил по поводу всякой суммы, необходимой при оформлении, – должно быть, не привык к тратам, а то и отвык на многолетнем иждивении больницы, богадельни, писательского Дома творчества.

Слушая Турбина, я вспоминала раздраженность Бахтина по поводу черной икры. Может быть, ему казалось, что совершалось нечто совершенно невозможное на твердо обозначенной линии судьбы. А может, принять этот последний дар все того же провидения, поселиться в своей квартире, когда Елены Александровны уже нет, оказалось невыносимым. Скорее всего, так.

…Но я долго не возникала, и как объявиться после столь затянувшегося отсутствия? Тут позвонил Юрий Селиверстов, молодой талантливый художник, сибиряк, мой знакомый. Он делал эскизы к портрету Бахтина:

– Приходи. Он звал.

Я пришла. И стала бывать. Тем более что жила близко.

А он… Он страшно изменился. Лицо не только похудело, но и высохло. Скулы заострились, восточность ушла, глаза стали круглыми и словно бы изумленными, как у птицы. И особенно почему-то рука, исхудавшая так, что стала подобна сухой птичьей лапе. Большая больная птица. Но в лапе вечная папироса, и тонкий дым поднимается к лицу.

Юра Селиверстов, только что погрузившийся в лоно православия, к моему ужасу, находил возможным поучать Бахтина, вел богословские разговоры. Бахтин молча слушал. Пытаясь неофита урезонить, я шипела: да как тебе в голову могло прийти поучать – и кого?!. А главное – чему…

В ту пору Михаил Михайлович был плотно окружен людьми одаренными, яркими, интересными. Может быть, он уставал от общения, но уж, по крайней мере, время, отпущенное на тоску в одиночестве, сокращалось. Визитеры шли, сменяя друг друга. Люди близкого с ним миропонимания, бесспорно, к Бахтину тянулись. Но так же близки оказались те, кто, по нашему мнению, был дальше некуда. В Москве говорили – почвенники намерены сделать из Бахтина свое знамя.

Много лет спустя Сергей Довлатов описывал отечественное соотношение сил, уже покинувших Россию и встретившихся на американском симпозиуме. «В первый же день они категорически размежевались». Почвенники друг к другу «испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы же были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к

великому сожалению, уже заявила».

Как же нам не хотелось, чтобы Бахтин стал знаменем – а уж тем более на «том» корабле! Забегая к Михаилу Михайловичу, я не лезла с этими темами. Но однажды, проявляя немыслимую осторожность, завела трудный разговор – как-то оно все странно. Были ведь все вместе в студенческие годы, собирались у нас дома, делали огромную – во весь коридор филфака – газету, общались как люди. И вот оказались врозь, и это уже не мы вроде, но «либералы» и «почвенники»…

Он, конечно, сразу понял, о чем речь, и главное – о чем я не говорю. Мое хождение на цыпочках по проволоке его развеселило.

– Не скажите! Среди почвенников во все времена встречались преинтересные личности. Вон Толстой – «Американец» возил на корабле ручную обезьяну…

– Ничего себе ручная! Это она судовой журнал исписала своими соображениями?

– Именно! Ну хорошо, а Урнов, Дмитрий который? Специалист по английской литературе и – профессиональный жокей, лошади его страсть.

…Как показало время, ничьим знаменем Бахтин не стал. Оставался до конца самим собой – только.

Но я сейчас не об этом.

Как-то пришла к Михаилу Михайловичу с новостью: я замуж вышла.

– Да ну! За кого же?

– За Юлия Даниэля.

– Приходите вдвоем непременно!

– Да я уговаривала идти вместе, а он стесняется, говорит: «у него» – у вас, то есть, «знания огромны – о чем ему со мной беседовать?»

– Пусть приходит. Передайте ему: все, что я знал, уже забыл.

Только Юлий, вообще-то человек не робкого десятка, откровенно трусил первый раз в жизни и идти не решался. Воспользовался приглашением и появился в доме Бахтина с опозданием.

На кладбище мы отправились вместе. Народу было много. Там, на кладбище, ко мне подошла одна из сиделок, позвала в дом, помянуть как положено. Сказала, что сами собрали скромный стол, сами напекли поминальные блины, чтоб проводить по чести человека, ставшего им близким…

…Мы вошли в дом, и я представила Юлия Турбину. Тот побледнел обморочно. Удрученная потерей любимого человека, похоронами, мартовским морозом, я не сразу поняла, в чем дело. Только потом вспомнила. А дело было в том, что во время суда

над Синявским и Даниэлем в прессе появилось групповое письмо университетской профессуры. Мне говорили, что Турбина обязали написать текст, – вроде он согласился, но с условием, что его подписи не будет. Подпись, разумеется, поставили. То ли он решил, что Даниэль тут же, на поминках, устроит скандал…

За столом сидели люди, я их знала, они меня не замечали. Они пребывали в каком-то крайнем напряжении. Ожидали какой-нибудь выходки со стороны неожиданного гостя? Или вообще были шокированы появлением Даниэля в доме Бахтина.

Но что это было? Безмолвная разборка либералов и почвенников, враждебное отношение к тому, что значилось за Синявским и Даниэлем?

Напряженность за столом была страшная. Во мне прокручивался диалог с Михаилом Михайловичем: вот тебе и «американец» с обезьяной, вот тебе и странный жокей-филолог, вот тебе и занятные люди, что встречаются среди почвенников во все времена!

Впервые в жизни почувствовала, что значит пребывать в присутствии души, отделившейся от человека. Ни разу потом не встречала ни Турбина, ни Кожинова. Но никогда не забуду, как в кватире, опустевшей без хозяина, при появлении Даниэля встал призрак скандала, скандала в духе Достоевского.

А ведь мы общались… Ведь вот совсем недавно попала в гости в дом, где за столом знала одного Кожинова. Он был с женой Милой Ермиловой[7] (Белинков рассказывал, как прогнал его, пришедшего знакомиться: «Вы женаты на дочери моего палача и доносчика? Вон!»). Та сидела неподалеку от меня, зажатая и потерянная… Ну нет во мне белинковской непримиримости, я к ним обратилась: «Правда ли, Вадим, что книга о Рабле вышла в свет с твоей легкой руки?» Они обрадовались оба.

– Да, – сказал он, – это моя индульгенция, за эту книгу мне на том свете грехи простятся.

И рассказал нечто поистине замечательное: как подсунул книгу на рецензию Галине Николаевой, автору колхозного романа «Жатва», потому как она считалась авторитетом в деле народной культуры.

Что и говорить, они сделали для Бахтина очень много, и Кожинов, и Турбин. Турбину я звонила часто, с Кожиновым при встрече здоровалась. Проще сказать, мы общались по старой памяти.

Но тут вдруг мы – в доме Бахтина, и вот как оно могло бы обернуться на его поминках! Я и сейчас думаю, обошлось лишь потому, что душа хозяина присутствовала здесь, только мы, люди,

видеть ее не могли. Могла видеть Кисанька, та самая, из породы египетских храмовых кошек – трехцветная, приносящая счастье по всем приметам, котенком подаренная Бахтину Милой Ермиловой.

Кошки, как известно, видят душу умершего.

Еще про кошек

Тем временем в комнате что-то происходило. Зачитывали завещание. Он все оставлял какому-то родственнику. Присутствовали и официальные лица. Представители Саранского университета претендовали на книжное наследство, с ними спорила представительница музея Достоевского. Спор был пустой, на полках стояли книги, насколько помню, случайные, никакую библиотечную коллекцию комплектовать из них было невозможно.

Тогда представительница музея Достоевского заявила, что хочет забрать два объекта, висевших на стене. Во-первых, портрет Бахтина работы Селиверстова. Во-вторых, изображение кота за письменной конторкой.

Я помертвела – кот был мой, подаренный на Новый год, подарок-шутка, и вдруг: в музей Достоевского!

И тут произошло неожиданное. Юлий ни с того ни с сего сделал заявление – нет. Этот кот должен вернуться в наш дом.

А кошек Бахтин вообще любил очень; понимал их мистическую природу, столь курьезно сочетаемую с бытовым интересом, с ловлей мышей хотя бы.

Рассказывал про котят: в какой-то ситуации, критической и пограничной, должны были срочно уехать, но как уехать, если кошка решила рожать. Так и остались на месте, пока котята глазки не откроют.

А я, в ту пору увлекаясь коллажем, решила к Новому году сделать на кошачью тему подарки – друзьям. Этот кот получился вальяжным, породистым, сидел за старинным бюро, лапа в рыцарской перчатке держала гусиное перо, ну и плащ, конечно. И несмотря на благородный антураж, был этот кот экспонатом балаганным. Кот получился бахтинский. На семейном совете было решено: кота в рамке отнести Михаилу Михайловичу – с Новым годом! На обороте Юлий написал целое послание. Кот наш пришелся ко двору. Понравился. Велено было повесить на стену. Позже Михаил Михайлович рассказывал, как одна знакомая все смотрела, соображая – кого эта рожа ей напоминает? Он отозвался тотчас:

– Да меня.

После смерти Бахтина кот вернулся к нам и жил до тех пор,

пока не попался на глаза Кире Николаевне Лидер из киевского музея Булгакова.

– Ох, ну конечно бахтинский кот должен быть в музее Булгакова!

И он отправился в Киев, хотя, честно говоря, кот бахтинский с котом булгаковским ничего общего не имел.

Конец

Бахтин болел долго и плохо, и конец страданиям приближался. Юра Селиверстов сказал: «Я ему предложил собороваться, настаивал даже, а он отказался. Поскольку жена умерла без соборования».

– Господи, что ж ты так обнаглел, что даешь советы в таком деликатном деле, неужели он хуже тебя знает, куда предстоит уйти и как…

Прежде чем мы рассорились на этом месте, Юра успел сказать: ты приходи, ему сейчас получше. А что «получше»?

Болезнь стояла в комнате «казенной землемершею».

– Дела мои плохи, – вдруг сказал он отчетливо и посмотрел зорко и пристально, как если бы его интересовала реакция собеседника. Или меня проверял.

Я растерялась. Не говорить же: «Ах, что вы!» – но и подтвердить, что дела плохи, немыслимо.

Тут подумала – он писал и про сочные колбасы, и про салаты, и про гигантов, пожирающих все это с устрашающим аппетитом. А вся почти жизнь прошла, кажется, в скудости – много было казенного, лишенного вкуса и смысла.

– Вот теперь – вот что вам предлагаю: капризничайте! Заказывайте домашние блюда, а я постараюсь.

И он принял игру – как раньше воскурял жертвенный дым, несмотря на категорический запрет хотя бы одной сигареты.

Сиделка звонила:

– Сказал, что хочет пельменей.

Потом пирожки с капустой, бульон… – все это, разумеется, в слегка облегченном, «кукольном» варианте. В дом к нему я тогда уже не входила, передавала сиделкам.

С ужасной отчетливостью помню последнее пожелание: свежие помидоры. А на дворе начало марта, а за окном Москва – какие помидоры, господи?

Но игра поддерживала в нем жизнь, – и тут Юлий, забыв природную деликатность, сел обзванивать знакомых корреспондентов. Те сигналили в свое зарубежье. И вот – Николь Амальрик из газеты «Монд»: «Помидоры прибыли из Парижа!»

Но опоздали. На один день. Николь плакала на нашей кухне. У меня не было слез. Не могу плакать, когда уходят родные люди.

Золотая свадьба

Попробуйте вспомнить, как выглядят бракосочетания в «Тысяча и одной ночи»? Дворцы, фонтаны, павлины. Он и она, истомленные страстью, уединяются в чертог любви, архитектурные прелести чертога разжигают любовь свадебной ночи. Влюбленные купаются не только в неге, но и в роскоши.

Впрочем, если память мне не изменяет, Восток в этом случае уделяет больше внимания трапезе, чем интерьеру. В брачном меню добросовестно перечислены одни лишь приторные яства и – сохрани Аллах! – никаких селедок с картошкой, столь обязательных в наших свадебных застольях, во всяком случае, в советские времена. О сладостные сны пряного Востока! Мне же выпало побывать на свадьбе как раз в арабских дворцовых покоях, правда, обошлось без халвы и шербета, но именно с селедкой, и дело было не в Багдаде, а в Ленинграде, представьте себе. А свадьба была золотой не потому, что герои дня прожили в согласии половину столетия, ничуть не бывало.

Просто жилплощадь, на которой это событие отмечалось при великом скоплении народа, имела облик золотого чертога, и чертог, как ему полагается, сиял, озаренный лампочкой, свисавшей на голом, как искуситель-змей, шнуре.

Тут необходимо отступление жилищного характера. И хотя по некоему авторитетному наблюдению квартирный вопрос изрядно испортил наших людей, к хозяину золотой жилплощади это никак не относилось. Ибо он, хозяин то есть выдержав, как говорится, испытание кнутом (или заключением), выдержал во след тому и испытание позолоченным жилпряником. Дело было так. Борис Зеликсон, судимый по делу «колокольчиков» (то есть издателей подпольного журнала «Колокол»), по отбытии срока в мордовских лагерях занялся сложным многоходовым обменом, не подвластным моему разуму, но его разуму абсолютно подвластным. С темпераментом, достойным его рыжей шевелюры, он что-то на что-то менял не глядя, а результат этой увлекательной игры, кажется, интересовал его куда меньше, чем сам процесс мены.

Конечного пункта достиг он заочно, приняв подходящие параметры: метраж-этаж, коммуналка, но зато центр: угол Пестеля и Литейного. С лагерным чемоданчиком и с ордером на руках он вступил на территорию Шахрезады.

То был курительный кабинет дома Мурузи, с резьбою по ганчу, с арабскими медальонами, вырезанными в стене, алыми и синими, в золотых обрамлениях каждый – кобальт и киноварь, и

густо-зеленый мрамор утонченных колонок при глубоких нишах арабских окон, и еще с тысяча и одной мелочью, выдающей склонности г-на Мурузи к великолепию, неге и милому изнеженному варварству стилизаций. Никакие усилия жильцов, обитавших тут между Мурузи и Зеликсоном, не сломили царственной повадки этого невозможного интерьера. Органическая потребность нашего человека, одержимого жаждой либо обжить жилплощадь, либо ее как можно более испакостить, желанных результатов не принесла. Увы, все не просто в этой жизни – золотой стиль доказывал фактом своего существования неистребимую живучесть Серебряного века. Интерьер был породист, как восточный верблюд, высокомерен, самодостаточен, и он, как и положено породистому верблюду, плевать хотел на черные выключатели, гвоздями прибитые к благородным стенам, на трубы парового отопления, крашенные в цвет общественных туалетов. И согласитесь – такой наплевизм был неприятен нашему человеку, и наш человек, не выдержав, сбегал, меняясь, куда-нибудь, где попроще, а потому жильцов тут сменилось множество, по крайней мере, о том свидетельствовали разностильные следы, оставленные всюду, но, как ни следи, – дворцовое благородство сохранялось, сохранялся и независимый нрав, что было дико в изменившихся исторических условиях.

Итак, Боб, вступив сюда, охнул, восхитился, выругался и – широкая душа – постановил, что именно здесь и должна произойти свадьба его друга и подельника Сережи, – и взбалмошный дух Мурузи, витавший тут вопреки историко-политическому контексту, в знак одобрения хлопнул Боба по плечу, хоть Боб и не знал, кто такой Мурузи.

Да, не знал, тогда, по крайней мере, а что мы тогда знали? Что особняк Кшесинской – это место, с балкона которого выступал Ленин, а если при нас говорили слова «завод Михельсона» – в нашем целенаправленном воображении тотчас готов был отзыв – это где в Ленина стреляла Фанни Каплан. А поскольку дом Мурузи Ленин не посещал, ну о нем ничего и не знали. Да более того: в том же доме, но в другом крыле, жил некогда Иосиф Бродский – сам! Но Боб в ту пору не знал и этого.

Итак: он собрал бесконечно узкий стол, а из каких составных, об этом никто не мог догадаться. Итак: он покрыл стол простынями, клеенками и бумагой. Итак: чертог сиял, и лампочка Ильича, свисающая на хамском проводе с потолка, усеянного тысяча и одною звездой, светилась, и золото стен сияло по ее милости, вспоминая свою исконную любовь к парадам и гостям.

А гости съезжались со всех концов отечества по тому случаю, что Сергей женился. Сергея все гости, конечно же, знали, но

невеста почти никому не была известна. Сережа отыскал ее в патриархальных закоулках Белоруссии, говорили, что она сирота и что ее воспитали тетки. Платьице, которое они соорудили ей для свадьбы, заставляло подозревать, что они старые девы, но невеста с фонариками рукавов над нежными плечами была трогательна, доверчива и мила. Когда Сергей смотрел на нее, у него всякий раз очки туманились от умиления, но складку меж бровей он сохранял. Может быть, для солидности, может быть она улеглась на лбу в лагере или во время долгих напряженных допросов, да так и осталась при нем.

Сергей был одним из «колокольчиков». Сроки, данные за «Колокол», группа отбывала в мордовских лагерях. Они были студенты, отличники, дружинники, на той стезе полудетских дружин, хранителей общественного порядка, они насмотрелись бед, обид и несправедливостей, потому и затеяли «Колокол». В Мордовию унесли с собой беспечность студенчества, на этапе, говорят, пели, как в туристическом походе, «Ты не бей кота по пузу мокрым полотенцем».

Зеликсон был старше, но в оптимизме от них не отставал. По их делу его загребли сгоряча и едва ли не случайно, вел он себя безукоризненно на допросах, на суде и в лагере, но не допускал, чтобы об этом говорили. Героический образ был ему нестерпим и он его (то есть себя) спускал на тормозах в стихию беспробудного и непобедимого юмора. Рассказывал тотчас анекдот про летчика, который под пытками не выдал секрет самолета, а, чудом уцелев, доверительно сказал своим: «Ребята, лучше изучайте матчасть».

Гости были зэки, отсидевшие вместе с героем дня и уже освободившиеся. И ехали они на свадьбу со всех концов страны, и каждый вез к столу что мог, а, кроме того, еще и сверток с заветным подарком для молодых, но что это был за подарок – об этом скажу потом.

А были то недавние зэки, великое племя, меченное тавром неволи и оттого исполненное веселой ярости сопротивления. Однако неискушенный глаз мог и не увидеть невидимое тавро, искушенный же увидал бы сразу. («Сколько лет на хозяина работал?» – пароль, брошенный заключенным бывшему, встреченному в автобусе, в чужом дворе или у ларька. – «Ну, десять, а что?»)

Гости были брежневского призыва, и призыв этот отличался от сталинского, людоедских времен. Они были в массе своей дерзки, хребты им не переломили, и почти все имели шанс и надежду выжить несмотря ни на что. А смотреть было на что – и незримо тянулся за ними след тьмы, серого небытия неволи, терзаний унижаемой плоти и липких щупальцев, протянутых к

душе. Но как категорично они гнали прочь призрак лагерной преисподней жестким оскалом улыбки, готовностью любой ужас или мерзость, ряженные в полосатую робу арестанта, уничтожить, расстрелять смехом, иронией, шуткой!

За что отсидели они свои годы? За преступления против политического режима, истинные и мнимые, за действия, за жесты, свершенные или нет. За смутные раздумья, за размышления, рожденные бессонными ночами рядом с опасным собеседником – радиоприемником, вещавшим сквозь грохот и вой глушилок голосами Америки и Англии о событиях нашей жизни. Эти смутные раздумья и размышления, успевшие или не успевшие сформироваться в четкую мысль, в переводе на языки мира звучали так: «Пронило что-то в Датском королевстве». (Помню – против этой шекспировой цитаты в моем журнальном тексте о театре редактор на полях написал «Намек снять!» И ведь прав был, прав, намек имел место, мы же изучали эзопов язык и порою, как ученики низших ступеней, бывали неуклюжи, и бормотали по-эсперантски «моя-твоя не понимай», когда нас хватали за робкую руку.)

А этих схватили за руку по-настоящему, и они были зэки, бывшие заключенные, ныне вольные – и все-таки зэки.

О чем можно было и не догадаться или даже забыть в застолье: свадебные гости, белые рубашки, шум и гам острот, но, может быть, избыточная раскованность жестов.

Застолье продолжалось, оно сложилось и имело свой строй и свой внутренний закон, чередующий восклицания, пожелания и воспоминания. Смех венчал каждый помянутый лагерный эпизод, и его с удовольствием рассказывали заново.

Вспомнили того незадачливого еврея, который срок получил за то, что продал американцам теорему Пифагора, разгласил, как по теореме этой высоту определять – секрет государственного значения.

Вспомнили эстонца-кондитера: изучив его личное дело, лагерное начальство вызвало его и спросило, правда ли, что есть такая булка, торт называется, а если правда – может ли он, кондитер-эстонец, изготовить для них, начальников, такую диковинную булку и что для этого нужно. Кондитер со своей профессиональной добросовестностью и эстонской обстоятельностью составил список необходимых продуктов: сливки, ваниль, миндаль двух видов, горький и сладкий, и все прочее, более тридцати наименований. Начальники обозлились – ты что, издеваешься, в карцер захотел? А в карцере пустая баланда с гнилой картофелиной, хлюпающей в крупяной жиже, – и та под вопросом.

Но вот и не для начальников, а для лагерников, самых настоящих, русский народный умелец Алик Гинзбург умудрился сотворить мороженое, мне о нем рассказывали подробно, но не запомнила я этой рецептуры, помню лишь технические подробности: литровая банка и резинка от трусов, Алик банку крутил, как пращу. Это тоже вспомнили за столом. Стол вообще располагал к продуктовым мемуарам, кстати, вспомнили и буханку Бориса Здоровца, хотя она в конце концов продуктом уже не являлась. Потому что Здоровец, баптист из Харькова, жестоко травил надзирателей, прикинулся, что спрятал в хлеб тайное и, конечно, крамольное письмо, может быть, баптистский текст или иную антисоветчину, а сам хлеб высушил до состояния кирпича. То-то было развлеченья, когда неусыпные стражи порядка тот кирпич пытались раскрошить. Этот баптист решительно не обладал ангельским смирением. Напротив. Когда какой-то начальник из Москвы посетил барак (высокая ревизия!), Здоровец так и сидел за штопкой носка не шелохнувшись. Спросил начальник, почему он не встает, а тот ему: «Вот когда вы меня отсюда выпустите, тогда и поговорим о манерах». Озлился начальник: «Да я тебя… тогда выпущу, когда тебя, баптиста поганого, поп обратно будет крестить в православную веру!»

– Это вас, гражданин начальник, поп крестил, а мои родители были комсомольцы, – отвечал наш баптист.

Застолье отмечало воспоминания дружным хохотом.

Еще хохотали над присутствующим тут директором школы (бывшим, конечно), он антисоветскую литературу догадался хранить в гулкой пустоте гипсовой головы Ленина, что стояла на алом постаменте в актовом школьном зале.

Ага, а тот зэк – помните? Плешивый и на Ленина похож.

– А как же! Как не помнить, выйдет из столовой и на крыльце встанет в позу «на броневике», да так и стоит. Вертухаи к нему – ты что, сдурел?!!

– А что такого? Просто стою и не говорю ничего.

Послушать их – весело было там, и не было более грозной силы противостояния, чем осмеяние этого трижды проклятого прошлого.

О, г-н Мурузи, негоциант и фантазер, где ему было вообразить такое сборище в таком интерьере! А еще ценитель эклектики…

За столом завязалась приватная беседа, и вдруг несколько гостей тихо вынырнули из-за стола, оказались ближе к углу и – как по команде – опустились на корточки, учинили кружок. И золото Мурузи приняло лагерный кружок, он славно вписался в курительный кабинет, а они курили, устроившись на корточках,

как умеют именно зэки. Или – еще – архаичные народы Севера, уставшие сидеть на цивилизованных стульях и вернувшиеся к привычной позе. В лагере шел откат от цивилизации, ему могли противостоять лишь сила духа и интеллекта, и юмор, само собой. Друзья мои, сидеть на корточках и кружком да и курить при этом – нет более идеального способа выключаться из окружающей действительности, каждый мог постичь эту истину, увидев бывших зэков в арабских покоях, в дворцовых восточных хоромах, и были они тут как дервиши, ей-богу. И Юлий Даниэль сидел и дымил в том кружке, а дома никогда так не сидел.

На свадьбу Сергея он был приглашен, мы отправились вместе, поезд из Москвы уходил поздно, и все же я не успела залететь в «Детский мир» на площади Дзержинского за подарком, подарок хотелось купить именно там, но ведь не успела, не успела, схватила что-то не там, что-то не то, и досадно было, что не то.

Только на свадьбе выяснилось: едва не все привезли молодым именно «то». Один за другим гости разворачивали свои заветные свертки, один за другим обнажались купленные в подарок пластмассовые револьверы.

Куча их, нестерпимо розовых, невозможно оранжевых, как мыльницы, росла перед озадаченной невестой.

А дело было вот в чем: невесту звали Фаня Каплан. И дело было в том, что она, воспитанная тетками в отвлеченности от сует мира, ничего про свою знаменитую тезку не знала.

Еще и в том было дело, что вышла она замуж за Сергея, отъявленного антисоветчика, но как именно она понимала это в ту пору – о том мне ничего не известно. Мне-то повезло, не успела обрести тысяча первый в этой коллекции револьвер. Тиражное остроумие меня уязвляло. Но там, на золотой свадьбе в доме Мурузи, чудесной и незабвенной, массовый тираж шутки никого не смущал и общей радости не испортил.

И много прошло лет, пока я увидела первую Фанни Каплан: в Санкт-Петербурге, в составе коллекции восковых фигур. Низенькая женщина с выпуклыми светлыми глазами, с пробором сельской учительницы и в блеклой шали на маленьких сутулых плечах поджидала некоего человека у завода Михельсона. И скверно мне стало смотреть на убийцу, хоть и неудачницу. Анекдот о второй, нашей Фанни Каплан с нашими дурацкими игрушками сюда не монтировался никак, даже в качестве воспоминания. Восковые персоны вообще серьезная вещь, а уж намерение совершить убийство… Нет, все-таки хорошо, что я тогда не успела в «Детский мир».

А потому перехожу в другой регистр. Я возвращаюсь в золотую комнату, у меня письмо, старое как мир (Господи, как же

давно все это было!):

«Дорогая Ира, пожалуйста, пришлите мне номера Вашего журнала „ДИ <Декоративное Искусство> СССР“, где было что-нибудь про искусство Востока. В моей комнате все придется делать самому, чтобы не нарушить стиль. Я решил начать с лампы в восточном вкусе, у меня уже есть латунь и фанера. Привет Юлику. Ваш Боб». Но не спешите усмехнуться фанере как таковой: тут говорит не инженер Зеликсон, вступивший на путь кустаря-одиночки, но истинный наследник Мурузи, сполна оценивший право негоцианта-фантазера увидеть мир сквозь золотистые стекла «Тысяча и одной ночи», никак не иначе.

«За иностранцем»

Я работала в редакции «Декоративного искусства СССР». У журнала была высокая репутация. Иногда мы могли кое-что себе позволить, пробить, протащить сквозь запреты и дурацкие табу, так что наше редакционное руководство куда-то вызывали, журили, иногда стращали. Теперь наши «происки» кажутся наивными, но тогда, в семидесятые, интеллигенция считала наш «ДИ» лучом света в соответствующем царстве.

– Зря ты взялась за космический блок, я уже заметил – вся эта космическая тема до добра не доводит, – сказал Леня Невлер, наш редакционный ребе, и как в воду глядел.

Во-первых, меня вызвал цензор.

Во-вторых, произошли события совершенно другого порядка, но внешним рисунком связанные именно с этой самой темой, хотя ей, теме этой, в грядущих событиях решительно нечего было делать.

Ну хорошо, сначала цензор. Какого лешего ему нужно? Редактор, кажется, уже вычеркнул все, что показалось ему подозрительным, велел подстраховаться интервью с Космонавтом и – чтобы с портретом: Космонавт улыбался лучезарно, совсем как Кадочников. Из-за Федорова, что ли? Да нет, про Федорова и его «Философию общего дела» уже можно…

Цензор был печален. Спросил, едва шевеля губами:

– Что это? – Он ткнул желтым пальцем в верстку. В самом конце, в хронике, ютилась заметка о дальневосточных косторезах: «Артель расположена на улице, которая идет из поселка к самой границе» – что-то в этом роде. Не более.

– Это государственная тайна, а вы ее разгласили. – Цензор был безутешен.

Пронесло.

О, страх и отчаяние в третьей империи, о, Брехт – он оказывался настойчиво актуален. Просто удивительно актуален. Но цензор этот, что за идиот! Кажется, он действительно думает, что шпионы регулярно читают «ДИ СССР»; что самый злостный воспользуется ценной информацией, и по этой улице – через границу – проникнет в артель, и выкрадет секрет изготовления Ильича из моржовой кости.

Но, с другой стороны, не столь уж скверно, что цензура клинически глупа. По крайней мере, это курьезно.

Вычеркнув криминальную строчку, спешу в редакцию успокоить коллег.

Однако коллеги ворчали: ничего хорошего нет в том, что

цензор обратил внимание хоть на что-нибудь.

Может быть, есть такая примета?

– И вообще, ваш Космонавт целую пачку номеров заказал, а не забирает. Несите домой, завтра в редакции ремонт начинается.

Тащу, ругаясь, – очень тяжелая пачка.

Из дома позвонила Космонавту, его нет, передала кому-то, чтоб забрал журналы, у меня отпуск, и я уеду.

Мы с Юлием уедем в Литву, будет море, и чайки, и сосны будут, литовские друзья станут говорить: Юлис… Мы снова попробуем разыскать старика-литовца из «зеленых братьев», он в мордовских лагерях заботился о Юлии, носки штопал: старик был без ног, не выходил из барака. Если освободился, если жив – найти бы.

Но это через день, через два, через три, а пока сегодня вечером мы ждем гостя – и какого! Я мчусь на кухню, времени, как всегда, нет, хлеба, как всегда, тоже.

Мы ждем Степана Татищева, нашего друга, чудесного человека. Татищев, атташе Франции по культуре, был разжалован и отозван из Москвы: при отъезде Ефима Эткинда произошла неприятность, стоившая Степану карьеры, да и вообще его контакты с опальными персонами были скандальны. Наши власти подняли хай, французские власти отправили его во Францию, домой. Для ссылки неплохо. Но Степан был болен московской жизнью (болезнь многих иностранцев, попавших из своего благополучного мира в наш бардак). Ему без Москвы было неуютно. А интеллигенции, дружившей с ним здесь, пусто стало без него.

И вдруг совершенно неожиданно он приехал как частное лицо – гость посла Франции, посол пригласил.

А мы и не надеялись еще когда-нибудь его увидеть! В ту пору с уезжавшими за рубеж мы прощались навсегда – только навсегда, и никак иначе, отъезд вроде смерти, нам он представлялся необратимым.

И этим вечером мы его ждали.

Я влетела в булочную на углу, через дорогу. В мутное окно магазина, как в кино с поврежденной кинолентой, мне было показано: по другой стороне нашей улицы шел он.

Тонкий, стройный, легкий. Он был очень красив, аристократ, одним словом, что, конечно, неважно, но почему-то ему это чрезвычайно было к лицу. А следом, наступая на пятки и почти к нему прижимаясь, лепились два куцых уродца. Они следовали за ним так близко, будто были не на пустой улице, а в метро «Сокол» в час пик, и, может быть, они и не были сами по себе уродами, но рядом со Степаном…

Господи. Да зачем они рядом с ним?!!

В том, что это они, сомнений, разумеется, не было и быть не могло. Чаще они скрывались в тени, а средь белого дня «работали» в исключительных случаях.

Я летела с хлебом, как угорелая кошка, но Степан уже исчез в подъезде. Те двое сидели на скамейке и на меня смотрели, а от них отходил в мою сторону домоуправ, вернее, хотел отойти и не мог, ноги не слушались: наверное, они ему представились или сам догадался, кто это, и он ничего не мог сказать, у него рот побелел и помертвел от ужаса. Интересное дело, что же, он гэбэшников не видел, что ли? Да черт с ним, домой, скорее домой!

Дома оказалось: они поднялись за Степаном по лестнице на второй этаж, дыша в спину. На площадке перед нашей дверью пробубнили:

– Слушай, в девять возвращайся, понял? Выйдешь позже – ноги переломаем. – И отправились в садик, на скамейку.

Татищев, естественно, завелся, впрочем, был весел.

– Оставайтесь ночевать, Степан!

– Нет! Уйду, когда решим разойтись, но не раньше. Тем более посол с семьей на даче, могу не спешить, никого не потревожу, хоть утром вернусь!

Они с Юлием уже сидели за столом, открывали вино, беседовали увлеченно. Кажется, они уже забыли случай на границе нашего дома.

Тоже мне гусары.

Они были выше ситуации.

Я – ниже.

Нужно было что-то делать, и под предлогом пирога в духовке я отправилась на кухню, закрыв за собой дверь.

С одной стороны, «ноги переломаем» – это, скорее всего, филерская самодеятельность, низовая, так сказать: кому охота поздно домой тащиться? Так что вряд ли тов. Андропов лично обучал пешек хамству уголовного характера.

С другой стороны, если мелкая мразь такое себе позволяет, значит, чувствует, что многое дозволено.

Слежка наглая, открытая, открытость санкционированная – пугают.

Нет, ясно как божий день. Степана ночью просто так из дома выпустить нельзя. Юлия тоже, а он уж точно пойдет провожать до такси.

Было же такое: Воронелей – Сашу и Нэлку[8] – в подъезде прижали, и довольно крепко: их пасла целая шайка топтунов. Очевидно, топтуны озверели от полного размыкания инструкций:

с одной стороны, Воронелей из отечества выживали, с другой – не выпускали.

Татищеву же попросту дали понять, что ничего ему не прощено, ничто не забыто, а дипломатической неприкосновенности он теперь лишен. И КГБ объясняется с ним на первобытном языке знаков.

Что из всего этого следует?

Из всего этого следует, что нужно выстроить ситуацию дипнеприкосновенности.

Звонить в посольство глупо – суббота. Звоню иностранным корреспондентам – не отвечают! Премьера на Таганке – кого сегодня застанешь?

Но вот чудо: застаю Костю Симеса и Дусю Каминскую. Они успевают сообщить, что из-за меня опаздывают на Таганку, прежде чем я скоропалительно выдаю информацию о ЧП. Адвокаты – ушлый народ, всё понимают мгновенно: нужно приехать за Степой на машине иностранцев и чтобы были дипнеприкосновенны. Ясно. Жди. Вечно с тобой истории…

Здравствуйте, я тут при чем? И какие, собственно, со мной-то истории? Друзья, называется. Но обозлиться не успеваю.

ЗВОНОК!

Вот тут-то со мной и могла произойти история, самая настоящая, и какая!

Позвонил Космонавт.

– Хочу, – говорит, – сейчас к вам приехать. Журналы забрать. Надо, – говорит, – отметить выход такого номера.

Боже мой!

На мгновение вижу перед внутренним взором ослепительно прекрасную картину: вот от нас выходит Космонавт, в руках у него объемистый пакет печатной продукции, литература из подозрительной квартиры. Вот два топтуна кидаются к нему изымать. А после того летят прямо в открытый космос – навсегда…

Тут погасла моя ослепительная картина – нет, конечно, нет.

Я не знаю, можно ли космонавтам посещать наш дом, откуда ему знать, куда он позвонил и чья я жена. Фамилия у меня другая.

Я не знаю, можно ли Космонавту сесть за стол с Татищевым, нынче он не лучше диссидента, а может быть, и хуже. Да и вообще иностранец. Как-то раз друг наш Боря по-тихому ушел, когда к нам явился какой-то американец, шепнул в прихожей: извини, у меня секретность. Так Боря что – инженер, а тут Космонавт. Не могу я его подвести, ну не могу.

Но как жаль!

– Простите, – говорю и несу чушь, почему приехать ко мне сегодня никак нельзя, а завтра ему курьер привезет, диктуйте адрес.

Как же! Повезет наш курьер эдакую тяжесть, но это уже наше редакционное дело.

Между тем в комнате шел пир горой.

А на Таганке, наверное, антракт.

По телефону на всякий пожарный случай вызываю «народное ополчение»; молодые друзья с неплохой мускулатурой и оголтелой отвагой поспешили по первому зову. А как иначе довести дорогого гостя до машины?

Мне бы диспетчером быть, а не в редакции ошиваться.

На далекой Таганке спектакль приближался к концу.

«Народное ополчение» не только прибыло, но уже и уселось за стол, наверстывая и горячась.

– Они, – сказал Жора, – головы враз поворачивают, когда к вам идет кто-нибудь. Как птенцы стервятника.

Жора был художником-гиперреалистом.

– Ты их что же, с орлами сравниваешь?

– Еще чего, стервятник – это такая ворона. Итак, за успех нашего безнадежного дела!

Замечу в скобках – в те времена ничто так не окрыляло, как этот расхожий и почти обязательный тост.

Симесы прибыли на такси. За ними шла вальяжная и внушительная машина корреспондентов газеты «Монд» Амальриков. До их машины, остановившейся на улице, машины, приравненной к территории другой страны, в которую вход гэбэшникам заказан, – до этого спасительного объекта мы двигались шеренгой, самой неуклюжей на всем белом свете. В середине – Степан Татищев и Юлий Даниэль, ужасно веселые и беспечные, с флангов – «ополченцы», ужасно воинственные. Филеры замыкали шествие, храня безмолвие, они даже шли на воробьиный шаг от нас, во всяком случае, на пятки не наступали, и это был зримый выигрыш наших общих усилий. Жора заявлял в пространство, не оборачиваясь, но громко, на весь двор:

– Они у меня без погон на пенсию выйдут!

У меня и сегодня нет сомнений – он верил в реальность своей угрозы. Но он так и не узнал, что они, эти двое, сегодня имели шанс запросто остаться «без погон» только лишь с помощью номера журнала «ДИ СССР», тема – «Космос и культура».

Мои друзья нипочем не простили бы, что я не допустила на сцену боевых действий Космонавта с его громким и знаменитым именем.

Они были молоды и бескомпромиссны.

Они не боялись ничего и ни за кого.

P.S. Филеры никаких погон не носили. Когда шли на дело, были, как люди, в куртках.

Позже как-то в той же булочной, в длинной очереди за чаем, со мной разговорилась женщина: «А муж у меня разведчик, когда женились, сказал, знай, что меня всегда могут убить враги, за которыми слежу. Вот как-то был он за иностранцем, так иностранец в гости – и нет его, а на улице мороз двадцать девять градусов, ну, мой и обморозился, он говорит, сколько я из-за них соплей поморозил. Сказать страшно. Вот служба какая».

Надо же, из всей очереди она, как нарочно выбрала для откровений именно меня. Жизнь помогла завершиться сюжету с Татищевым.

Но у нас дело было летом, хотя эхо эпизода отдавалось в дипломатических кругах до самой осени, и нота посла, и ответ на ноту посла, и еще что-то, но уже за пределами моей участи – общественной и личной, или общей и частной.

А выражение, оброненное в той исповеди и той очереди, было мною занесено в записную книжку, найденную случайно, двадцать лет спустя, там еще московские телефоны шестизначные и записи всякие, среди них строчка. Я долго не могла вспомнить, что это значит и зачем мною записано:

«Быть за иностранцем».

Чужая собака

В книге Дины Каминской этот случай описан.

Перед тем как ему произойти, она увидела вещий сон. Не в обиду ей будь сказано, сон этот показался мне скучным: приснился обыск и случился обыск, чем, спрашивается, ночное виде́ние отличается от действительности? Нет уж, сны нужно видеть метафорические и по возможности художественные, кажется, успела я ей заметить.

Из того сна никто из нас практических выводов не сделал, как показали дальнейшие события.

Мы дружили. Жили в Москве неподалеку и часто ходили друг к другу в гости.

Константин Симес и Дина Каминская, Дуся и Костя, адвокаты. Дом у них был, каким и должен быть у адвокатов, по крайней мере, в начале века. Уют красного дерева, натюрморт Судейкина и культ хорошо накрытого стола. Все здесь обретало значимость ритуала правильно и надежно организованной жизни. Костя был великий гурман, даже в семидесятые годы умел доставать вырезку к приходу гостей, само по себе это обстоятельство могло служить доказательством его могущества.

Имя Дины тогда гремело – адвокат, берущийся за политические дела, должен был обладать благородством и бесстрашием. Об этих ее свойствах много говорили и писали в подпольных изданиях.

Писать-то писали, но, как всегда бывает, не находили нужным упомянуть, что она красива, а это было важной ее чертой – красавицы многое себе могут позволить, и она позволяла себе преступать границы, жестко очертившие права и обязанности советского адвоката.

Все в ней было контрастно: волосы темные, глаза не в масть светлые, в лице яркая смуглость, но и бледность; открытость пополам с загадочностью, да к тому же маленькая, и это ей очень шло. Однажды кто-то глянул к ним за советом, уходя, увидел в прихожей ее детские сапожки и обомлел: это ваши? можно я вас поцелую…

А голос у Дуси густой, усталый, будто говорит другая женщина, большая и грузная. В том, что голос с внешностью не совпадал, думаю, заключался дополнительный эффект ее адвокатского ораторства, какая-то внезапность.

Но я слышу ее не в суде, а дома, как она в застолье выступает, подчиняя общий разговор ритуальному порядку. Во-первых, о том, как ей не дали защищать Даниэля на процессе: «Ты

подумай, Юлик, мы ведь могли познакомиться уже тогда!» Потом воспоминания о друзьях-ифлийцах, как Дэзик Самойлов в коктейль-холле сочинял лихие экспромты за стакан сладкого пойла.

Эти равномерно прокручиваемые пластинки никогда не надоедали, но придавали особенный мерный ритм нашим ночным сидениям.

В ту памятную зиму они сняли дачу в Перхушкове и предложили делить с ними зимние воскресные дни. Что могло быть лучше? С вечера пятницы до утра понедельника мы могли быть вдали от города, в уединении и в то же время рядом с милыми людьми.

Перед тем у Симесов случилось много бедствий, и испытания на прочность сыпались одно за другим. Уехал единственный сын. Умерла любимая сестра Дуси. Родственный мир сузился сразу, они вдруг остались одни.

В Перхушкове стояла поздняя осень. Дачные белки суетились в мокрых скворечниках. Костя стоял на крыльце. Оглядывая облетающее дерево, вслушивался в тишину. Сказал: «Вот и кончились наши несчастья» – и ушел в дом жарить курицу. Он был строг и нас с Дусей к ответственным делам не подпускал.

Днем мы работали по своим комнатам, потом гуляли, к вечеру собирались в гостиной. За окном стояла черная ночь, наш уют отделяла от нее кружевная занавеска. Иногда мне казалось, что кто-то смотрит на нас в низкое окно, может быть, большая чужая собака. И я выносила на крыльцо косточки.

Утром они исчезали.

День рождения Юлия – 15 ноября – мы решили отпраздновать в Перхушкове. В Москве в этот день народу набиралось видимо-невидимо. Хуже было, что те, кого не могла вместить наша видавшая виды квартира, обижались на меня на весь следующий год. Что было делать? Только сбегать. Я ведь и сейчас, когда Юлия нет на свете, – я и сейчас не знаю, сколько друзей придет в его день рождения. Но уже никогда не сбегаю.

А тогда, в 1976 году, мы решили быть вчетвером. На другой же день, вернувшись в Москву, собрать дома близких.

Костя допустил меня к тесту, сам занялся дичью. По террасе летал пух белых куропаток.

За окном полетел первый снег.

Накануне мы с Дусей гуляли в роще, и на совсем безлюдной тропинке нам встретился один-единственный человек. Он прошел мимо, оказавшись близко на узкой тропе, так что я заметила, что шарф у него точно в цвет глаз, голубой, а Дуся сказала, что не нравится ей эта встреча.

И я ответила что-то, не приняв ее подозрений, как не признала ее сон достойным внимания. Да просто надоело жить в постоянном напряжении и подозрении, а мы все волей-неволей жили именно так, ну и надоело! Подозрения решительно ничего не меняли в нашем бытии, но мешали страшно. Да и что, собственно, изменило в ходе дальнейших событий это мудрое, как оказалось, наблюдение Дуси?

День рождения получился чудесным: роскошный стол – Костя превзошел себя, – много прекрасных напитков – и нас только четверо. Застолье развивалось в привычном русле. Наконец Дуся и Юлий запели частушки, мы же с Костей обречены были слушать. Частушки были их слабостью, вполне простительной, не простила я им только, когда они однажды стали петь при Наталье Гутман. Она была беременна, сидела тихо и вежливо улыбалась. По дороге домой я объявила, что терпение мое кончилось, ладно при мне, но: петь при Наташе Гутман?!. Юлий был добродушен: «А в чем дело? Мы же не играли при ней на виолончели!» «Да от вашего пения она могла родить», – с пафосом заявила я. Так оно и случилось. Наталья родила на рассвете. Наших певцов это крайне вдохновило, они принялись обсуждать, как они смогут помогать роженицам за скромное вознаграждение в случае, если останутся без работы. Забегая вперед, скажу: без работы им предстояло остаться очень скоро.

Итак, ночь дня рождения завершалась частушками, их содержание отличалось крайней смелостью выражений, Дуся, резанув меня глазом, успела сказать: «Ханжа!»

Мы убрали со стола и перемыли посуду, Дуся и Юлик мыли посуду лучше всех на свете, это нужно признать.

– Разбудите меня утром, – попросила я. – Мне в город нужно пораньше.

Но они не разбудили, уехали тихо по своим адвокатским делам. Неприятная и обманчивая пустота зависла в доме, вот досада! В редакцию я уже опоздала. Что ж! Ожидая окончания перерыва в дневных электричках, села за статью. Юлий дремал, просыпаясь, возился со своими переводами. Пришел Алексей, смотритель газовых котлов. Мы его не вызывали. Он быстро прошел на кухню, буркнул невразумительно и ушел, словно был обижен: обычно любил поговорить и был приветлив.

Пора было собираться. Мы решали вопрос: брать с собой или тут оставить? Костя здесь, в Перхушкове, писал тайную книгу о многих годах юридической практики. Половина рукописи оставалась у нас на прочтение. Везти ее в Москву не хотелось. Но пришлось: Костя, оказывается, просил, чтобы сегодня обе части рукописи соединились.

И мы повезли, положили на дно сумки, сверху, как в корзине Красной Шапочки, лежали остатки пирогов, банка с деревенским маслом и бутылка.

Шли к автобусу. Было холодно и безлюдно. Навстречу попался монтер, собиравший на руку провод – ночью прошла буря, сорвала провода. Юлий сказал: «Он неправильно сматывает».

– А ты откуда знаешь?

– Связистом на фронте был.

Я подивилась его знаниям. О войне он рассказывал редко, как и о лагере, и то, если пристанешь, и то, если эпизод забавен. О тяготах вспоминать не имел привычки.

Между тем буря, оказывается, нанесла большой урон: на остановке автобуса целая группа монтеров забралась на столб, что-то они чинили.

Путь был привычен: автобус – электричка – Белорусский вокзал. Но как я опоздала в редакцию! Придется объясняться, не говорить же, что Дуся не удосужилась разбудить.

Мы выходили из здания вокзала, когда нас плотно окружила небольшая группа. Тихо предложили не оказывать сопротивления. Я успела подумать: шпана! – но тотчас опомнилась. Какая там шпана! Удостоверения показали сразу, по первому требованию.

На площади предложили сесть в разные машины, я отказалась.

Меня охватило патологическое спокойствие. «Ты была как скифская каменная баба», – говорил потом Юлий, и непонятно было, одобряет ли он скифов или нет, у меня же случилась такая форма шока: бывает!

– Нет, мы поедем в одной машине. Иначе сейчас закричу на всю площадь «Даниэль арестован!», а через час ждите сообщений по «Голосу Америки». Они обозлились или даже огорчились. Я вообще замечала, что эта публика расстраивается, нарываясь на грубость интеллигентов. Интеллигенция была их собственностью и должна была вести себя соответственно их представлениям о воспитанных подопечных.

Мы ехали в машине с занавешенными окнами. Куда – неизвестно. С нами сидели двое, упрекая меня в беспричинной подозрительности. Я думала о том, что в данной ситуации нет ничего нелепее букета сухих трав, надо же было его, веник этот, захватить в последнюю минуту.

Нас привезли, повели длинными казенными коридорами. В перспективе виднелся металлический художественный объект, щит и меч. Ну как же! Кто-то приносил к нам в редакцию

«Декоративного искусства СССР» фотографию этого произведения с просьбой поместить на страницах. К чести моих коллег фотография была отвергнута, потому что щит вон какой маленький, а меч громадный.

Нас ввели к следователю Тихонову, он объявил, что у нас с собой антисоветская рукопись. И всё по правилам: понятые, взятые прямо с улицы и перепуганные. Изъятие пакета со дна хозяйственной сумки. Следователь аккуратно потрошил мою маленькую сумочку, вытряхнул кучу бумажек и тюбик с фотопленкой, стал смотреть на свет и был несколько озадачен: в кадрах были задворки, помойки, руины. Могло сойти за очернительство, и я объяснила: выставка сценографии в ВТО, за что потом получила от Юлия втык: не спрашивает следователь – сама никогда не лезь. Добыв из кармана моей дубленки лохматый блокнот с черновиком статьи, следователь принялся его изучать. Время шло.

Время шло, и я попросила разрешения позвонить домой. «И что же, хотите сказать, что позвонили из кабинета следователя?» – «Да не беспокойтесь, найду что сказать». Он разрешил.

– Привет, это я. Мы задержались из-за моей чертовой статьи, но все хорошо. Не знаю только, когда будем, но сделай дома уборку, наверняка у тебя бардак, а вечером могут прийти гости, хотя зачем они сегодня? Ну всё.

Что стало понятно? Что наше задержание держится в секрете, это раз, обыска дома не было, пока, по крайней мере, это два.

Нас увели в пустую комнату, похожую на класс. Караулили двое. Мы вытащили пирог, предложили и им, они отказались, один спросил: «С какой начинкой?» И, услышав ответ сказал мечтательно: «А у меня теща с морковкой печет». Жизнь становилась нереальной – обыски, рукопись, морковка с тещей, черт знает что. За дверью что-то происходило, по коридору торопливо ходили, шаги множились, тихо хлопали двери. Костя и Дуся были где-то рядом. Что с ними делают?

Юлия пригласили к следователю («Да вы не беспокойтесь, вернется!»). Он вернулся. Позвали меня. Допрос. Был поздний вечер, следователь устал. Я тоже, мы оба халтурили. Он спрашивал вяло: «Вы, конечно, рукопись не читали? И вообще такого рода литературу не читали?» Я отвечала кратко, но почему-то с грузинским акцентом: «Бэзусловно». Он сказал сокрушенно: «Ваш муж отказался сообщить, как к нему попала рукопись. Рукопись антисоветская, все это для него очень плохо, что вы об этом думаете?»

Вопрос идиотский. Отвечаю. «Значит, так и надо. В таких

вопросах он не ошибается, можете на него положиться». Следователь смотрел на меня с сожалением. Полагаться на Даниэля он явно не собирался.

Нас снова соединили. У Юлия разболелась голова, лекарства у меня вытрясли из сумочки вместе с бумажками, и охранник – уже другой – выворачивал карманы (свои) в поисках какой-нибудь полезной таблетки. Что дальше? Нас повели куда-то вниз, открыли дверь. Там была ночь, и мы вышли.

Дома все уже было приведено в порядок, то есть: непозволительная литература удалена, несколько гостей прямо от порога отправлены обратно – мало ли как обернутся события? Но на тот вечер развитие событий окончилось. Мы позвонили Симесам – а они дома! – «Так приезжайте! У меня, кстати, к вам несколько вопросов юридического характера». Ох как мне влетело от Кости! «Что ты по телефону орешь открытым текстом!» Телефон давно не вызывал у нас ни малейшего доверия, но потребность в конспирации на сей раз показалась мне излишней, конечно, я промолчала, изобразив раскаяние: нервы у всех были на пределе.

Они были задержаны. Костя при подходе к месту работы, Дуся перед дверью своей квартиры. При ней произвели обыск, она сразу определила, что незваные гости уже бывали здесь и все знают.

В Перхушкове за нами следили пятнадцатого вечером – занавеска-то прозрачная – и, как ни прискорбно, прослушали концерт наших солистов. Подозреваю, они получили от частушек больше удовольствия, чем я. Именно тогда я понесла еду «большой чужой собаке», надо же выдумать такую чушь – в окно она, видите ли, глядит! На даче гэбэшники, разумеется, бывали в наше отсутствие и про рукопись все знали. Но какова инсценировка!

Статист Алексей, высланный на разведку, доблестный связист-ремонтник с оборванным проводом, наконец, небольшой отряд на столбе, самоотверженные труженики. Операция как при задержании группы вооруженных диверсантов. Коменданта академического поселка так пугнули, что он потом рассказывал страшным шопотом: «Рация у них была!» – судя по интонации, имел в виду пулемет.

У меня всегда вызывал профессиональное любопытство театр КГБ. Исполнители ответственных поручений страсть как любили играть роли, хотя бы и бессловесную роль монтера. Однако вся эта громоздкая постановка была затеяна не только из любви к искусству, но и для того, чтобы в конце концов выжить Каминскую и Симеса из отечества. Охота за рукописью была

неплохим поводом, целью было изгнание.

Следующий день рождения Юлия нам не суждено было отмечать вместе: перед ноябрьскими праздниками они должны были отбыть, но до того Костю затаскали по допросам; уходя, он подбадривал Дусю и тайком забирал с собой зубную щетку. Но с допросов возвращался.

На проводы я не успела, летела из командировки из Душанбе, везла их любимую корейскую капусту. Самолет непредвиденно оказался в Куйбышеве. Там осталась корейская капуста, протекшая сквозь десяток пакетов, и оттуда я позвонила. Они все были вместе, все друзья – в последний раз. «Где тебя носит?» – кричал Костя, про вынужденную посадку слушать не стал. Рано утром из Домодедова я мчалась в Шереметьево. В густой толпе провожающих Симесов не было видно, но я услышала голос Кости: «Мы вас никогда не забудем!» Другой группой стояли иностранные корреспонденты. Огромная моечная машина с утробным воем была пущена прямо в нашу толпу.

Вот и всё.

Да, вот еще что: тогда, вернувшись из прокуратуры, спросила сына: как ты догадался, что я звоню оттуда?

– К нам утром вошла большая чужая собака, стоит и смотрит. Я подумал, что-нибудь должно случиться.

Аркадий Белинков

Сообщать, кто такой Белинков, наверное, необходимости нет. Отечественная культура, склонная к потере памяти, его вряд ли забыла.

В середине шестидесятых слава его в кругах интеллигенции была велика. Сформировалась даже в некотором роде каста «читателей Белинкова». Поразительная проза располагала к поклонению, академические знания – к трепетному уважению.

Белинков жил в слове, как человек-амфибия в море. Наверное, у него были какие-то литературные жабры: он почти физически нуждался в словесной стихии. На суше действительности плохо работало сердце, он задыхался.

Если же человек живет в слове, как в море, он и доверяет словесной формуле больше, чем факту. Тем более что жизнь часто пользуется литературой как сценарием. Во всяком случае, в России, где действительность тяготеет к аморфности, где она неустойчива и где чуть что – все опять и опять смешалось в доме Облонских, в нашем огромном скандальном и ветреном доме.

Белинков знал о свойствах речи всё. Он знал, что мысль изреченная может оказаться ложью, слово – блажью, но безукоризненно выточенное слово может и материализоваться, вопреки популярному представлению о служебной роли литературы в составе действительности.

Почтенную, отчасти старомодную свою ученость он уравновешивал склонностью к эксцентрическим выходкам. Выходки ставили почитателей и ниспровергателей в тупик.

Порой он шокировал современников невероятными историями, и логика управдома просто получала инфаркт. Неверующие отказывались совать палец в рану. Противники наличие раны, о которой он готов был поведать великолепно отделанным слогом, начисто отвергали.

Он любил и менял маски. То маска добродушного и чуть рассеянного академика, то отчаянного весельчака, буйного в застольях, – не пил ни капли, но шумел, шутил! А иногда маска беспощадного обличителя.

Главная его маска была хранима XIX веком. Он грациозно, безукоризненно следовал ей в манерах и похож был на Грибоедова, только грибоедовские черты стали острее, стремительней и, как помню, благородней. Главное сходство – эти внимательные очки, зоркое сверкание стекол. От изучающего взгляда веяло классической ученостью энтомолога.

Был он устрашающе образован, и так все знал (хотя бы о

литературе), что просто удивительно, как ему не становилось скучно с самим собой.

Но скучно ему не становилось, потому что он был стратег и игрок – хоть и не в карты, хоть и не в кости, – он просто играл, разыгрывая сложнейшие партии, передвигая фигуры, реализуя сюжет. Иногда это были мы, но слушаться было легко, и мы доверяли его дебютам, недоступным моему уму, и он трудился, чтобы объявить противнику шах и мат.

Противник был общий – иногда назывался Софьей Власьевной или Ермиловым, иногда редакторшей, какая разница?

Его жизнь охотно поддавалась невероятным поворотам, и даже биографии его рукописей носят особый «белинковский» характер.

Первые рукописи, созданные в лагере, были хранимы в банках наглухо закупоренными, подобно бутылке, брошенной в море. С той разницей, что банки закапывались в почву закрытой зоны, как клад. Врожденный порок сердца, всегда готовый оборвать жизнь, в ту пору почти и оборвал. На одре предполагаемой смерти он доверил тайну коллеге по заключению. Коллега по заключению передоверил тайну начальству; судьба отложила кончину несносного зэка, а начальство, выкопав банки, принялось готовить его ко второму сроку.

По крайней мере, так он рассказывал. А у меня никогда не возникало соблазна ему не верить. Хотя, конечно, он был предан сюжету как рыцарь, но и сюжеты самой жизни сбегались к нему со всех ног, как бездомные собаки, почуявшие наконец истинного хозяина.

Так обстояло дело с Первым архивом. Тетрадки были вывезены им самим при освобождении, тексты написаны, скорее всего, в 1954 году, в больнице Песчлага МВД СССР, в Караганде.

Тетрадки были переданы вдове отдельно от архива, кажется, с ними не происходило никаких остросюжетных белинковских историй.

Позже, когда московский архив Белинкова был вывезен в США, в Монтерей, я по просьбе Наташи[9] отправилась к ней помочь расшифровывать эти лагерные тетради.

Школьные в линейку, они были осыпаны идеально шлифованным бисером его почерка, свидетельствующим о непобедимой склонности к изяществу. Безукоризненность содержания для Аркадия состояла в прямой зависимости от совершенства графического облика строки. Была высшая изысканность в том, чтобы в плену не описывать ужасов плена, но наплевательски высокомерно их не замечать: о том, при каких

обстоятельствах происходит игра в грифельный бисер, свидетельствует лишь одно: между строчками почти нет пропуска, как нет и полей, исписаны напролет все четыре обложки – такова ценность бумаги, добытой там и тогда.

Рукопись, содержавшуюся в первой лагерной тетради, еще трудно принять как завершенный опыт. Скорее она состояла из разномастных экзерсисов, предназначенных для того, чтобы оттачивать когти для будущей прозы. В середине пятидесятых аналогов подобному тексту не нахожу. Стиль «Хармс» уже был расстрелян, стиль «стёб» еще не был зачат. Но Белинков предчувствовал затеи Жака Дерриды.

Когда он писал первый роман, за что и был арестован, ему было двадцать два. Зрелый стиль сложился за тринадцать лет заключения. Стилистический тренинг был воплощен в текстах, что зарывались в зоне.

Он трудился над своим открытием в тюрьме, принимая приговор, погибая в лагерных лазаретах, готовясь никогда не выйти в «большую зону». Эта творческая лаборатория с ее зэковскими уловками, с практикой сокрытия всего, что могут отобрать, – а отобрать могли всё, – приняла посильное участие в формировании стиля.

Второй архив скопился между освобождением и побегом, – именно побегом, а не эмиграцией. Неимоверными и непроторенными путями они с Наташей совершали этот смертельный номер с одною сумкой, хозяйственно-дамской и клетчатой, с какой московская женщина не расставалась ни при каких обстоятельствах.

О том, чтобы взять с собой мощный груз рукописей, записей, черновиков и заготовок, не могло быть и речи. Они оказались разлучены – Писатель и его Архив.

Политическое убежище Белинкову предоставила Америка. Политическое убежище крамольному архиву предоставили друзья. Верные российской привычке хранить вечно что-нибудь взрывоопасное, Наталья и Михаил Левины прятали архив Белинкова.

Когда же все начало меняться в нашем мире и те, с кем мы расставались навеки, вдруг стали наезжать оттуда – тут-то и прилетел в Москву на несколько дней друг Белинковых с московских времен Юлий Китаевич, к тому времени проживавший в Цинциннати. От Наташи он получил задание доставить в Калифорнию архив покойного мужа.

Китаевич задумался. Свобода наступала на родину неотвратимо, как весна, но и память о таможенном шмоне была свежа, как майская роза. Китаевич купил два совершенно

одинаковых чемодана. Первый набил рукописями, а второй икрой и водкой в недозволительных количествах. Чемоданные близнецы чинно предъявили себя пограничному рентгену. Нутро первого было серым и скучным, его тотчас затмили внутренности второго, явившие картину вопиющих нарушений. Первый уехал, второй был задержан, уличен, а Китаевич учинил скандал и возмущался ровно до тех пор, пока архив Белинкова, по его расчетам, не достиг, подобно Ионе, брюха кита и не был свален в общий багаж самолета.

История с архивом в чемодане имела параллель в том далеком прошлом, когда Белинков завершил текст второго издания книги о Тынянове, «расширенного и дополненного», как пишут в таких случаях, предваряя обновленный текст. Этот «обновленный» Аркадий начинил неслыханными по своей дерзости аллюзиями, изысканно упакованными намеками и рассуждениями, на вид простодушными, на самом же деле яростными. Да возможно ли выразить лютую ненависть к людоедскому режиму в строках, в словах, пригодных для совсем другой прозы?

Это не оговорка: литературоведение Белинкова со всеми своими смыслами, подпольными и опасными для жизни автора, – сверх всего было именно прозой!

А он, работая над обновленным текстом своего Тынянова, все более уподоблялся шаману, впадающему в благородный, но все же рискованный транс, когда вдохновенное камлание происходит уже само собой.

Как раз в час подобного камлания из-под пера Белинкова вырвались опасные признания. Разумеется, поданные с изяществом, но все же совершенно недопустимые в советской печати. Рассчитывать на сочувствие редакторши не приходилось, если судить по ее репутации. Но в штате издательства у такого человека, как А. Б., были «свои люди», восхищенные почитатели, очарованные при личном общении, готовые на все.

В тот день, когда суровая редакторша должна была прочитать особо опасные страницы, подложенные в рукопись в последний момент согласно тщательно продуманному сценарию, – ей, суровой даме, позвонили. Телефон донес волнующую информацию: в продажу поступила партия японских зонтиков! А в Москве 1965 года – кто бы устоял, кто бы не побежал в галантерею со всех ног, забыв о чести, совести и партийном долге? На время, конечно…

И она помчалась, сердешная, покинув пост среди рабочего дня. А «свои люди» подхватили с редакционного стола взрывоопасные страницы – и в набор!

…Аркадий рассказывал об этом увлеченно. Со временем рассказ становился все более и более ярким, детали сюжета оттачивались, сам он наслаждался. Люди, не попавшие в поле его притяжения, во власть его обаяния, скорее всего, не поверили в этот талантливый рассказ – да такого же и быть не могло!

Но я поверила безоглядно. Тем более что книга вышла в том виде, в котором и желал ее держать в руках сам автор, обучая нас читать между строк.

Оказавшись в одном пространстве с Белинковым, я уже верила в то, что миф куда реальнее действительности. Что слово можно зарядить петардой магии. Что сам Аркадий способен манипулировать словом, как фокусник магическим жезлом: ведь фокусник вытаскивает из пустого цилиндра абсолютно настоящего кролика – кто будет спорить?

Мне, конечно, хотелось, чтобы из цилиндра все же выскочил новенький, настоящий, свежий зонтик. Чтобы та редакторша, облапошенная дура, зря покинувшая служебный пост среди бела дня, – в день триумфа гениального стратега Белинкова А. В. плелась бы домой под проливным дождем, но все же под новым зонтиком и – само собой – японским.

Однако входил ли жест великодушия в генеральный план великого стратега или фокусника – того не знаю.

Но с другой стороны, ведь и цензура в этом втором издании книги о Тынянове пропустила такие пассажи, о каких советский писатель и мечтать не мог! Так что даже Солженицын изумился: как это вам удалось напечатать!..

Но об этом нужно отдельно.

Было так: вышел наконец долгожданный том. В руках автора сигнальный экземпляр… И тут точка: в московских магазинах новой, только что изданной книги нет и нет.

Нет книги в Москве! Служба информации, безукоризненно налаженная Белинковым, кажется, по всей стране, донесла: большая часть тиража отправлена в Таллинн! Почему в Таллинн? Да кто ж ее знает. Может, по общему головотяпству, ведь вряд ли была какая-то причина не допускать книгу к московскому читателю как можно дольше… Аркадий нервничал, в его стратегические планы Таллинн не входил.

Вдруг ко мне заехал знакомый эстонец – проездом из Кисловодска домой – и пообещал, и прислал! Десять экземпляров. Из них два Синявскому и Даниэлю, узникам. Одну мне за удачу в добывании. Главное же – экземпляр Солженицыну. Передано через Копелева.

Получил. Прочитал. Позвонил. Приехал!

На другой день Белинковы срочно вызвали меня, рассказать о

великом визите. Оба – и Наташа, и Аркадий влюбились по уши, рассказывали хором.

Итак, он спросил: как удалось такое напечатать. Аркадий же вскричал, восторженно глядя на автора «Одного дня»:

– И это спрашиваете вы?!!

– Ну я другое дело, тут два мужских самолюбия замешаны – Хрущева и мое. И вот появился Иван Денисович на страницах «Нового мира».

И лился, лился рассказ об исторически значимом разговоре двух писателей, как вдруг… Аркадий спохватился (как же так, у него сокровище личного общения с классиком, а что же подруга?) – и щедро одарил меня, поделился, можно сказать.

– Я ему объяснил, что книгу достали вы. А он сказал «хороший человек». Это про вас…

Было такое? Да нет, конечно. Но оцените благородство пассажа – он нелеп, он сымпровизирован, но ведь обманывать никто никого не собирался, в чем могу поклясться на Библии.

Что касается книги «Юрий Тынянов», издание второе и дополненное. Все-таки она в московских книжных магазинах появилась. И конечно, произвела то впечатление, которое автор предвидел. В этом никакого чуда не было. И фокуса тоже.

Книга принесла ему признание, книга привела учеников, молодые критики прилежно изучали ее как учебник эзопова языка. Белинков владел им в совершенстве.

Он писал о Тынянове – удивительном писателе, – но на правах призрака в его тексте присутствовал образ советской страны. Писал о том, что любил, одновременно информируя каким-то непостижимым образом о том, что было ему ненавистно.

С научной точностью выверял он строение многомерной фразы. Как сказали бы представители тартуской школы, «предельно расширил план содержания». Но это стало возможно лишь потому, что «план выражения» был предметом его неустанных забот. Его проза обработана так, как обрабатывают твердые граненые кристаллы. Он принял от структуралистов знание о внутреннем устройстве текста, но при этом следовал законам барокко, оперируя изгибами, извивами, прихотливым движением фраз.

Привороженные мерным ритмом этой прозы с внезапными синкопами, ослепленные блеском и жестким мерцанием, исходившим от белинковских страниц, мы, его читатели, чувствовали себя допущенными к вещам ответственным и опасным, к чему-то вроде заговора, и потому не оценили в полной мере другую грань его стиля – иронию. А он держал ее за

исключительно полезное оружие, вроде пистолета Лепажа.

Думаю, когда его ирония переросла в открытую сатиру, стиль понес ощутимые потери.

В это время Белинковы перебрались с Аэропорта к Белорусскому вокзалу, и любопытно было видеть, как у него, обитателя духовных сфер, устанавливались личные дела с материальным миром. Вещи в доме – красное дерево. В ту пору спроса на старье еще не было, ему же нужен был не антиквариат – ему нужен был девятнадцатый век. Одну стенку в кабинете желал видеть цвета бордо, бархатную. Его желание было законом для нас, его почитателей, кто-то ездил на фабрику, производившую бархатную бумагу. Еще мы хотели на день рождения купить ему халат, только он догадался и нас остановил, объяснив, какие халаты носили во время Грибоедова: подклад – шнур – кисти. Кисти впечатлили особо: шелковые! Игра в дворянское сословие, в котором зарождалась великая литература, у которой он состоял на службе, в сущности и была именно игрой.

Потом вдруг все оборвалось, обломилось, рухнуло. Грянул арест двух писателей.

Белинков принял его катастрофически:

– Сигнал, сигнал.

Он потемнел лицом, лег в больницу, Наташа бледнела так, что я спросила, что с ней.

– С тех пор как арестовали Синявского и Даниэля, мы не живем, – ответила она.

А между тем реакция Белинковых на арест двух литераторов была типичной: вспомнилось, вспомнилось! 37-й год. Он косил людей, как чума, писателей не упустил, литературоведов тоже. Время оглядывалось назад, призрак смертоносной годины обозначился с жуткой отчетливостью. И хотя никаких массовых репрессий не последовало; и хотя скоро выяснилось, в чем дело, – ни Аркадий, ни Наташа так и не очнулись от удара.

Да, массовых арестов не было, но угроза ареста отныне прочно поселилась в их доме. Эта угроза проникла в новую рукопись Белинкова и в чем-то определила ход авторской мысли. Он писал о собрате по перу, об Олеше Юрии Карловиче – о капитуляции интеллигента. Писал так, как если бы речь шла о дезертире, о предательстве; о сдаче на милость победителя. Он писал главу за главной, все более распаляясь. Писатель и советская власть могут состоять только в непримиримой ненависти друг к другу. Попытка уцелеть, укрывшись от вражьего огня, по Белинкову, однозначно преступна.

Эта проза была подобна зеркалу в барочной раме. О том, что о зеркалах, лучше не думать, – предупреждала Ахматова.

Но он думал. И столь велика была его власть над нашими молодыми пылкими душами, что сейчас, жизнь спустя, я спрашиваю себя: что ж не замолвила слово в защиту приговоренного хотя бы в наших беседах, горячих и тревожных (а ведь, между прочим, словом Юрий Олеша владел никак не хуже, чего без внутренней свободы никогда не бывает).

Между тем движения мысли Белинкова становились все фантасмагоричней. Тень фантасмагории ложилась на текст. Он сам был встревожен своим Олешей. Стал мрачен. Но вот поставлена точка, рукопись перешла в руки редактора издательства «Искусство».

– Что ж, будем работать, – сказал редактор, звали его В. И. Маликов.

И они работали. По мере работы рукопись меняла свой облик, все становилось прямее, огрубленней. Границы допустимого подвергались ежедневным атакам. Возражать было немыслимо. Наконец настал день, когда редактор сказал: книга в таком виде у нас выйти не может. Но за рубежом…

Но за рубежом! Мысль эта не могла не посещать нашего писателя. Тем более – прецедент уже был, опыт Синявского – Даниэля. Конечно, угроза нового ареста страшна, но…

И вот Аркадий, чье подорванное здоровье давно не отпускало его дальше Баковки, – вдруг оказался в Варшаве! Вернулись с Наташей осчастливленные глотком свободы. Относительной, конечно, свободы, но Аркадий преобразился, рассказывал о прекрасных полячках: «Они носят большие шляпы, короткие плащи и высокие сапоги. Со шпорами…» – впрочем, шпоры он тут же отменил. Но образ бесстрашия, но лихость мушкетеров!

Потом была Прага, потом Белград, и я уже не вспомню, где их настигла весть с родины: главы из книги об Олеше, весьма причудливым образом оказавшиеся в редакции журнала «Байкал», территориально удаленного от Москвы, были напечатаны! Белинковы ждали этого в крайней напряженности. Ждали, как отзовется на главы странной книги родная столица. Столица отозвалась тотчас – подвалом в «Литературной газете». Критик, громивший главы из книги Белинкова, разглядывал его с такой неприязнью, что стоило ли возвращаться?

Наверное, нам не следовало удивляться, когда стало известно, что писатель Белинков с женой попросили политического убежища в американском посольстве города Триеста. Но мы были поражены. Мы еще не знали, как это бывает, когда человек вдруг оказывается в совсем ином мире, где можно не ждать другого лагерного срока.

Потом, потом, когда косяком пошли отъезды, а мы всей

толпой, всей оравой провожали до самой таможни, я всякий раз думала, как это они – одни, совершенно одни… Бедный мой Аркадий, бедная моя Наташа…

И часто вспоминаю тот Новый год, когда мы с сыном собрались пировать под елкой, и вдруг они зашли на огонек. Новый год получился тихий, уютный, и пятак в пирожке, запеченный на счастье, достался Аркадию.

Летом они бежали.

Круг Биргера

Борис Биргер был рыж, тощ, стремителен, категоричен и пристрастен. Из художников, ему современных, признавал только Домогацкого. Веселое хулиганство Комара – Меламида отрицал с той же яростью, что и вялую многозначительность Глазунова.

Но конечно, больше всего отрицал советскую власть. Однако эта самая власть его почему-то не трогала, не замечая его подписей под письмами протеста против преследований Юрия Любимова и в защиту Анатолия Марченко. Это уязвляло. Правда, при очередной зачистке партийных рядов его из партии вычеркнули, но он и вздохнул с облегчением. В партию – как рассказывал – вступил мальчишкой на фронте перед боем («прошу считать меня коммунистом»), выбыл же из рядов вполне созревшим диссидентом. Сказать о его политических установках необходимо, иначе к его творчеству не прикоснуться.

В семидесятые годы о показе его картин на выставках МОСХа не могло быть и речи (а если б и случилось невероятное и ему предложили бы выставить один из его портретов – ох какое это было бы для него оскорбление!). Но портреты, которые он писал, могли быть известны в кругу Биргера – и только. В круге первом и единственном, замкнутом и непроницаемом.

В круг Биргера входили те, кого он писал, они же являлись на вернисаж, так что модели и портреты находились в постоянном контакте друг с другом, прекрасно обходясь без постороннего зрителя. Про Джотто говорили, что он движением пальца мог вычертить безукоризненную окружность. Вазари пишет – сложилась поговорка в среде живописцев: «Ты круглее, чем „о“ у Джотто!» Вот и Биргер сотворил нечто подобное – четко и точно провел контур своего круга.

Снаружи располагался довольно гнусный мир, враждебный тем, кого Биргер поместил внутрь. В сущности, так поступал и Хома Брут, оградив себя начертанной на полу окружностью, чтоб никакая нечисть его достать не могла. Внутри круга Биргера оказывались люди, близкие ему по духу. Его пламенные и страстные дружбы принадлежали только лицам, которые были ему интересны. Я не удивилась бы, узнав, что прочее человечество в его представлении вообще лиц не имело.

Биргера влекло к людям с неблагополучным расположением звезд на политических небесах. Едва ли не каждый, кто ему позировал, мог быть посажен, задержан, выслан.

Галерея портретов, созданных в мастерской художника Бориса Биргера в Москве в конце семидесятых и в восьмидесятые

годы, была вызывающе одиозной во времена застоя. Это были портреты известных лиц, так или иначе выражавших свою оппозиционность по отношению к порядку вещей в отечестве, к режиму в стране, к политике государства.

Позиция моделей Биргера могла носить эстетический характер (неприятие нормативов советского искусства, спущенных «сверху»). Или же характер этический (несовместимость государственной политики с нормами элементарной человеческой порядочности). И наконец, это могла быть позиция, прямо оппозиционная государственным установкам (это уже была открытая полемика с властью). Олицетворением первого типа поведения можно назвать Окуджаву, второго – Войновича, третьего – Сахарова. Портретами этих персонажей коллекция галереи Биргера не исчерпывалась. Между этими категориями можно найти множество оттенков поведения и позиционирования лиц, в которых Биргер находил нечто крайне важное для себя, но принцип распределения диссидентских сил, очевидно, намечен правильно. Персонажей этих портретов отмечает одна общая черта – благородство. При всем различии черт лица и характеров – это всё люди одного племени. Типичная интеллигенция восьмидесятых, состоящая на учете у властей в списках неблагонадежных.

Едва ли не каждого, кто оказался на его полотнах, могли отправить в ссылку, как Андрея Сахарова, выдворить из страны, как Льва и Раису Копелевых, загнать в психиатрическую больницу, как Наталью Горбаневскую. И уж разумеется, каждого могли просто посадить. И если на портреты Биргера попадали друзья, не значившиеся в списке неблагонадежных, они хотя бы разделяли взгляды хозяина мастерской. А когда у Василия Аксенова начались неприятности, Биргер и его, и Майю Кармен успел написать прежде, чем обоих выставили из отечества.

Окончив портрет очередной «одиозной» персоны, Борис собирал в мастерской под стеклянной крышей многоэтажного дома свой знаменитый бал моделей.

Моделей на чердаке собиралось великое множество, Биргер, естественно, был душой общества, бал проходил ужасно весело. Сколько же было шуток, дружелюбных подкалываний, смеха. Как будто шел просмотр карикатур, а не портретов, написанных с самыми серьезными намерениями. Какие простодушные замечания высказывала Слава Сарнова! Какие шутки позволяли себе модели… Так, семейный портрет Сахаровых назывался у нас «Портрет Люси с мужем».

Женские образы вообще давались Биргеру лучше. Он видел в женщинах тайну. Мужские лица на его полотнах были задумчивы

и благородны.

Но об этом нужно писать подробно, сначала же – про обстоятельства места и времени.

…Бал моделей был в самом разгаре, в небесах под стеклянной крышей, а глубоко внизу, во дворе у подъезда, толпились черные машины. Нет, не моделей (в ту пору личных автомобилей за нашим кругом числилось два – у Войновича и Окуджавы). При подъезде стоял узнаваемый транспорт КГБ. В каждой машине по два гэбэшника, каждая машина и ее «экипаж» были закреплены за определенной моделью Биргера. Слежка велась открытая, носила характер психологического давления.

Однако возбужденному настроению в мастерской это не мешало. Напротив, шутки по поводу слежки были неисчерпаемы. Между тем тучи над головами моделей сгущались. В город Горький сослали Сахаровых, Копелева выгнали из Института истории искусств, Даниэля лишили переводческой работы.

Из разговора в мастерской во время сеанса:

– К Леве опять подходили в подъезде, угрожали. – И что? – Послал. – Люсю хотели запугать в электричке. – И что? – Послала.

Сюжеты диалогов становились однообразны, – причем нельзя сказать, чтобы модели не подавали повода ко все возрастающему раздражению властей. Все более безоглядно подписывались «письма в защиту». С иностранными корреспондентами, сочувствующими российским диссидентам, встречаться стали открыто. Биргер, разумеется, был «под колпаком», готов ко всему, лез на рожон, опасался только одного – чтоб не отобрали мастерскую. Впрочем, его и это вряд ли остановило бы.

Однажды, когда нас подвозил домой Войнович, мы затормозили перед светофором, рядом впритык встала черная «Волга», из ее крыши выползла невиданная антенна. Она изогнулась и стала царапать крышу Володиной машины – то была акция устрашения, довольно курьезная и нелепая. Рассказывая об этом кагэбэшном аттракционе, мы веселились. Биргер же впал в гнев, требовал, чтобы немедленно было составлено письмо Андропову с протестом против «шуток» низших чинов вверенного ему ведомства. Письма протеста он был готов писать по каждому поводу, но вообще-то в случае с диковинной антенной возбудился не напрасно. Дело в том, что этот казус случился, когда мы ехали от Генриха Бёлля. Он был близким другом Биргера, часто бывал в Москве, посещал наши балы моделей, да и сам стал моделью – Борис написал прекрасный его портрет.

В тот раз Бёлль приезжал прощаться: был уже безнадежно болен.

…Итак, наши шпики маялись на улице, а тем временем под стеклянной крышей шел бал, и модели вели себя по-гусарски. О преследованиях было принято говорить легко, иронично, и эта манера при серьезности ситуаций располагала к особым свойствам целого ряда портретов работы Бориса Биргера.

Именно эти портреты друзей, чье положение в мире было отмечено знаками опасности и риска, определили своеобразную манеру его письма. Сложна живопись, входящая в состав фона. Там присутствует сумрак нежный и глубокий, смутные тени цвета кофейного зерна и затаенное лиловое мерцание. В немногих статьях о творчестве Биргера, которые мне встретились, упомянут Рембрандт, его взаимодействия тени и освещенности. Но думаю, следует говорить о Фальке, если касаться отношений лица и фона. Люди на его портретах находились под защитой этого живописного мерцающего вещества.

«Художественная конспирация» определяла метод Биргера-портретиста: как правило, портреты лишены четкости, черты неотчетливы, – словно бы лица растворяются в густом и таинственном фоне. Фон богат, густ, плотен. Будто не допускает полной, окончательной выявленности черт, контура, объема.

Мне всегда казалось – тут происходит встреча двух противоположных намерений мастера: и выявить черты, и спрятать одиозную модель. Очевидно, психолог мог бы почерпнуть из этих портретов некоторые сведения о положении моделей и о подсознательном намерении автора скрыть, спрятать, оградить от опасности позировавших ему друзей. Если бы Биргер был склонен к мистическим дисциплинам, его можно было бы заподозрить в занятии ворожбой, в стремлении художественным заклятием отвести беду.

Надеюсь не ошибиться – его неординарные портреты начинались с портрета Надежды Яковлевны Мандельштам в 1967 году. Думаю, именно тогда, вглядываясь в ее лицо, он страстно захотел сказать о натуре больше, чем способен выразить самый прекрасный портрет, написать судьбу и участь.

Ко времени, когда он приступал к этому полотну, мы уже знали книгу Н. Я. (я говорю о первой ее книге), она вышла за рубежом и у нас передавалась из рук в руки. Наверное, ее следовало понимать как житие мучеников, их – ее и Мандельштама неприкаянность по ходу жизни обретала неимоверные размеры. Он писал: «нищенка-подруга», называл ее щелкунчиком. Его сумасшедшая любовь к жене поражала Ахматову. Его конец был ужасен. Она выжила. Для того, чтоб сохранить в памяти его стихи – все. Чтобы дождаться часа, когда они будут напечатаны. Но как поведать все это полотну…

Угрюм, и темен, и чист фон, в его неспокойной структуре фиолетово-коричневые тени, клубясь, сгущаются углом, но в боренье с ними вступает белое свечение, оно исходит из центра картины, и не с первого взгляда понятен его источник: в центре проступает древний лик колдуньи, ее зоркий и вещий глаз.

Изморозь седины, губы в улыбке, кажется, доброй. Лицо готово скрыться в серебристом тумане. Над головой два широких расходящихся луча, на самом деле это крылья, но едва различимые, почти невидимые, как будто их и не следует видеть, скорее при желании можно ощутить их присутствие. Можно о них догадаться…

…Мы встретились с Биргером у Копелевых на большом сборище, Биргер с кем-то спорил энергично и надменно. Увидев Юлия, ринулся к нему, отстраняя кого-то и заявляя: он должен писать портрет Даниэля, и немедленно!

Но поскольку мы обычно отправлялись куда-нибудь вдвоем, Биргеру и пришлось писать нас двоих. Когда в Германии был издан первый каталог, там так и стояло: «Juliy und Irina Daniel, 1974».

Ездить на сеансы в мастерскую пришлось долго. Мы успели подружиться с ним и с его юной женой Наташей. Они тогда там же в мастерской и жили, спальня была на антресолях. В мастерской среди холстов ютилась электроплитка, Наташа тут и готовила.

Мастерская была на Первомайской, по чердаку крупного многоэтажного дома тянулся неимоверно длинный и неимоверно мрачный коридор. Там было множество мастерских, и подозреваю, отнюдь не все их владельцы состояли с Биргером в добрых отношениях, не без оснований опасались того, что визиты Биргеровых «натурщиков» могут принести серьезные неприятности и – кто знает, может быть, не ему одному.

Так что о том, чтобы Наташа могла завести собаку, хоть самую маленькую, не могло быть и речи, а очень хотелось. Мы с нею предавались маниловским мечтаниям: если на двери мастерской повесить табличку «Борис Биргер – анималист», то и собачка была бы возможна…

Наташа, мало того что была очень – ну просто очень молода, но еще и поразительно красива, обликом своим и манерами и густой каштановой косой напоминала «тургеневскую девушку». В строй бойких своих современниц она никак не вписывалась. Борис, если судить только по ее портретам, был от нее без ума. Писал обнаженную натуру – кожа светящаяся, омытая перламутром. Писал ее, серьезную и сосредоточенную, внимательно читающую старенькую книгу.

Поздняя любовь, напавшая на художника зрелого и сложившегося, ослепительная страсть, переживаемая столь горячо, столь остро, одарила его второй молодостью, придала ему новое дыхание, обостренную зоркость и наградила приливом отчаянной отваги.

…Ездить на Первомайскую приходилось долго, через весь город, на долгие часы сеансов, и сидеть, конечно же, тихо. Юлию была предоставлена льгота – в ту пору он получил заказ от БВЛ на перевод белорусских поэтов, ему разрешено было – не то чтобы отвлекаться, но хотя бы думать о переводе. На меня данная ему воля не распространялась. Я, по справедливости, принадлежала фону, фон же набирался сиреневых капель, рефлексов, отраженных моей сиреневой блузкой. Но он мне польстил, придав ту таинственность, какая виделась ему женских лицах.

Да и зачем мне было отвлекаться в сторону посторонних мыслей, если можно было во все глаза смотреть на причудливый журавлиный танец, исполняемый Борисом перед мольбертом, на единоборство с холстом. Он отбегал далеко, бросая на натуру одержимый взгляд, потом стремительно нападал на холст, тонкой кистью нанося на него нечто значительное, невидимое нам.

– Зря ты, Юлий, когда позировал, белоруса переводил. Лучше бы Байрона, – сказал Фазиль Искандер на балу моделей под общий хохот.

Байрона – оно лучше, конечно, но портрет хорош, очень хорош! Висел в мастерской, Наташа говорила: «Портрет ваш меняется, стал грустным». Борис говорил: «Портрет вам отдам. Только все, что вы понавесили у себя, придется выбросить».

Ничего себе!

У нас две работы Гаянэ Хачатурян, нашей подруги. Один Соостер[10] – память об умершем друге. Еще Эткар Вальтер, еще Валентина Руссу-Чобану. Как это выбросить?!! Во-первых, это подарки от чистого сердца. Во-вторых, в нашей жизни они естественны, как собственная кожа.

Короче говоря, пришлось остаться без работы Биргера. Но каков! Ведь действительно в упор не видел чужой живописи.

А портрет наш и по сей день живет у Натальи Биргер. Портрет пережил Юлия, пережил Бориса и ныне обитает в Германии.

В биргеровской галерее портретов были изображения парные – Сахаровы, Копелевы, Даниэли. Еще были групповые композиции, особенно любимые самим художником. Назвать ли их «Возьмемся за руки, друзья»? Тем более что Булат присутствует на одном из полотен…

Или: «Групповой портрет диссидентов»?

Персонажи на групповых портретах могли меняться, но все они, так или иначе, были причастны кругу Биргера. Кроме перечисленных лиц там оказывались Бенедикт Сарнов, Олег Хлебников, Игорь Виноградов, Валентин Непомнящий, Григорий Поженян. Тут художник изображал и себя, иногда в шутовском двурогом колпаке. Композиция круговая, замкнутая, закрытая от внешнего мира.

Еще в распоряжении Биргера был способ сплотить свой круг, одаривая друзей радостями домашнего свойства. Он устраивал то костюмированный бал с раздачей бумажных костюмов, то новогоднюю беспроигрышную лотерею, то кукольный театр. Во всех этих затеях был привкус милой старомодности, забытых семейных традиций, милого веселого любительства.

Особое место занимал домашний кукольный театр Бориса Биргера: как водится в традиции домашних развлечений, в театре кукол были заняты любители – лица, к искусству кукольного театра непричастные.

Но кто же они были, эти любители? Алла Демидова, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер и Бенедикт Сарнов. Сарнов написал кукольную комедию про Биргера, Биргер изготовил кукол из папье-маше с портретным сходством, спектакль получился смешной, насмешливый, яркий. В куклах Биргер обнаружил бóльшую тягу к реализму, нежели на живописных полотнах. Куклы были петрушечные и, как все Петрушки на свете, в конце концов передрались между собой…

Биргер со своими маскарадами, лотереями, балом моделей и куклами реконструировал какой-то старомодный мир не нам доставшегося детства. Именно домашние детские радости старинного покроя казались самым надежным ограждением от бед. В шестидесятниках вообще сохранилось мальчишеское озорство, а власть былых забав над ними была так же сильна, как и ответственное отношение к жизни, торопливо выращенное в конце пятидесятых… Виктор Некрасов вспоминал, как в доме Лунгиных они, взрослые, досрочно погнали мальчиков спать, чтоб на свободе самим собрать модель бригантины.

Кукольный театр Биргера затевался для детей, и то, что этот театр отошел в конце концов в руки друзей Биргера, означало лишь одно: Петрушки уже сами распоряжались ситуацией. Такое с куклами бывает. Они порою любят командовать, капризничать, пророчить.

Главная кукла Биргеровой коллекции была кукла Боря, автопортрет, выполненная в задиристой и старомодной манере старинных карикатур, с оранжевой куделью над высокими

висками, с острым углом кадыка, петрушечная кукла, одним словом.

Куклы в театре Биргера подтрунивали друг над другом, над куклой Биргера они просто издевались. Но сам художник, и вспыльчивый, и ранимый, коллегам-куклам все прощал. Но вел себя, как положено Петрушкам – искал на ширме «образ врага», чтоб отлупцевать палкой, и вообще задирался.

Когда Биргер выехал в ФРГ «на разведку», друзья не замедлили отобразить это событие на ширме. В пьесе Сарнова обыгрывалось то обстоятельство, что Биргер посетил Германию в первый раз в составе частей Советской армии; выражалась надежда, что на сей раз он отправился по уже знакомому маршруту без военного сопровождения и так далее. Между сценами Булат играл на гитаре – «все они красавцы, все они таланты, все они поэты», а Белла Ахмадулина с куклой Белкой в руках читала с большим чувством:

Не покидай нас, милый мой Борис,
Не предавай святого первородства,
А если нас покинешь, то вернись,
Не умножая моего сиротства.

Но только милый наш Борис в конце концов нас покинул и зажил с семьей в Кёльне до самой смерти.

Последний спектакль игрался в 1985-м, он назывался «Свежий ветер». Сюжет – открытие персональной выставки Биргера в Манеже.

– Пойми, старик, выставка Биргера – это только начало. А потом – Алла получит свой театр, Миша Левин станет академиком, Эдик Денисов – директором Гранд-опера…

– Ну, Бен, это ты хватил…

– Кто там еще остался? Олег? Ну, Чухонцев может стать редактором «Нового мира»… Хотя, зачем ему журнал, лучше пусть издаст свои сочинения в двенадцати томах.

– Бен, – голос Игоря Кваши, – ты бы тоже мог издать в двенадцати томах свои сочинения, если бы все это время не валялся на диване и не играл в шахматы. А так…

– А так я издам томов шесть.

– Откуда у тебя шесть томов?.. Хотя если включить переписку с Войновичем.

– Ты с ума сошел! Забыл, в какой стране живешь?

– А что? Сейчас свежий ветер перемен. Не исключено, что через два месяца Володя будет здесь…

– А Андрей?

– Конечно! И Андрей с Марьей (это про Синявских).

– Да не тот Андрей (*конспиративно*), с «Двойного портрета».

– Это будет, будет обязательно, – голос Аллы Демидовой. – Мы с вами обречены такому счастью.

Вернулся из Горького и смог последние годы прожить дома Андрей Дмитриевич Сахаров… Начинались новые времена. С окончанием советской власти растворились институты слежки и преследования инакомыслящих. Отсутствие внешнего врага отразилось на людях круга неожиданным образом: начались раздоры и ссоры.

Смейтесь сколько угодно, потому что куклы-друзья, куклы-модели переругались, передрались насмерть самым потешным образом.

Отъезд Биргера в Германию, теперь уж навсегда, совпал с разрушением круга. И куклы собственноручно возвели баррикады на своей ширме, и не между кругом и внешним миром, но – между собой!

Круг распался.

После отъезда Биргер жил в цивилизованном мире, и куклы у него, должно быть, были уже не из старых лоскутиков, а из настоящей шагреневой кожи.

Домовой в чемодане

О том, что нужно менять всю систему, я впервые услышала от водопроводчика.

Уловив в его словах скрытое иносказание и даже пророчество, я, как помню, восхитилась игрой смыслов. В ту пору мы ценили эзопов язык превыше прочих языков. Водопроводчик же, если и имел заднюю мысль, то лишь в отношении аванса на пол-литру.

Система другого рода, над которой не властен был водопроводчик, висела в воздухе, и дышать было трудно. Это у Стругацких описано место, где всегда идет дождь, а вокруг дождя нет. Вокруг был мир, куда нам путь заказан по определению, и такова система. Отношение к ней в конечном счете было важной, если не главной причиной Великого Перелета.

Великий Перелет был подобен миграции птичьего племени, которое до поры до времени если и летало, так только во сне. Вдруг оно пробудилось, дрогнуло, затрепетало. И взмыло над зоной тотальной оседлости.

Зона была обнесена стеной системы, вроде Великой Китайской стены. Все, что размещалось за стеною, было:

пространством, откуда являлись знакомые иностранцы;

обморочным пейзажем из фильма Феллини;

морем, в котором старик Хемингуэй ловит золотую рыбу;

еще там есть перламутровый мираж Ренуара, его называют Париж –

как же, спрашивается, можно туда въехать, в картину, в фильм, в книгу. Мы принадлежали другому измерению. Мы не были похожи ни на Алису, ни на Кролика. Однако прорваться в другое измерение оказалось возможным, стоило лишь удрать от системы, от нее, ненавистной.

Тут начинается необъяснимое: мы, кто оставался, ненавидели ее не меньше.

В конце концов одни уехали, другие остались, кто как захотел. Или кому что на роду было написано – и всё тут.

Всё? Да ничего подобного. Много лет назад гремели яростные споры, вопрос «ехать – не ехать» на московских кухнях приобретал характер митингов – Гайд-парк, а не кухня!

Но и двадцать лет спустя этот спор не окончен. Мои сверстники долго, очень долго не могли оторваться от дискуссии:

– Я был прав, что уехал.

– Я был прав, что остался.

В изменившемся ландшафте мира, после того как нас

выпустили, да лети куда хочешь, кому ты нужен, в преддверии того, что нас уже никуда не будут впускать, слишком много от нас хлопот – вопрос «ехать – не ехать» проявил неимоверную живучесть.

Вопрос с таким солидным стажем и начисто лишенный практического смысла – это уже в своем роде факт искусства для искусства.

«Искусством для искусства» назывался художественный объект на одной ранней авангардной выставке, что бывали на Малой Грузинской. Два телевизора, сблизившись линзами, смотрелись друг в друга. В каждом ящике шла своя программа, это можно было понять, заглянув в узкую щель между ними. Однако зрителями объект не интересовался. Каждый ящик доказывал ящику-оппоненту свою правоту. Художник Рошаль, создавший это произведение, уехал. Ящики он покрасил зеленым, чтобы наглядно показать, как они отличны от других ящиков на всем белом свете.

Мы отличны от других людей, которые либо меняют место жительства, либо не находят нужным этим заниматься, а при чем тут споры? Особенно когда все в прошлом, поезд ушел несколько десятилетий назад. Но мы…

Но кто такие «МЫ»?

Я не берусь определить по признаку социальному, интеллектуальному или еще какому-нибудь, содержащему сущностную характеристику. А только мы были единством. Могли ссориться, мириться, жаловаться и осуждать, единство же сохранялось. «ОНИ» – это силы системы, «МЫ» – это племя, да! более всего мы были похожи на обширное, неугомонное племя, со своими ритуалами, идолами, с истовой верой в коллективные действия – для этого пригодилось недавнее наше пионерское прошлое, его мы стеснялись и особо сурово осуждали Павлика Морозова.

И вот – случилось.

Много позже мне казалось, что кто-то или некто, имеющий инфернальное касательство к судьбам, стоит в сторонке и, злорадно потирая руки, поглядывает на племя «МЫ».

Единству предстояло испытание.

В тот день, холодный и немытый, как Россия, когда нет ничего хуже, чем сидеть в библиотеке, мы помчались в кафе. Более всего оно напоминало перрон, забытый поездами, и все же посещать его было особым шиком. Почти как на Западе: чуть что – сразу в кафе. О том, что у цивилизованного человека бывает свое излюбленное кафе, мы читали в зарубежных романах. Мы все выписывали журнал «Иностранная литература».

За стаканом кофе, цвета беж и пахнущего жареной рыбой, шел горячий разговор о свежих событиях, и тут я обнаружила, что осталась вне разговора.

Обсуждалась возможность, вдруг открывшаяся, и необходимость, вдруг осознанная, – отъезда в страну Израиль.

О том, что такая возможность возникла, я, конечно, знала и не знать просто не могла. Но происходило что-то другое, невозможное, совершенно невозможное, немыслимое, совершенно немыслимое. И я задала вопрос.

В нем не было заботы о собственной участи (если я верно помню, вообще до того самого часа думать о собственной участи было дурным тоном).

Итак, в пустынном неуюте «Ивушки», что на Новом Арбате, прозвучал мой бескорыстный, но – увы! – нелепый вопрос:

– А я?

– Приедешь к нам, о чем речь!

Господи боже мой, «к нам»!

Да как же это – к нам…

Что управляло моей рассеянностью, идеальное представление о монолитности наших рядов или безнадежная отсталость?

Произошел если не космический, то уж во всяком случае исторический катаклизм, но я его пропустила. Окно в Европу еще не открылось, однако форточка в Израиль уже хлопала на ветру перемен.

Но я пропустила.

С каждым может случиться. Например, рядовой Даниэль проспал день окончания Великой Отечественной войны. Ему орали: «Юлий, война же кончилась!» – он отвечал: «Вот и хорошо». На другой день понял: событие.

В семидесятом он допустил вопрос, мало отличный от моего. По отбытии срока заключения его поселили в Калуге, и он еще не оброс после зэковской бритвы курчавой и плотной шапкой волос, такую носили пожилые негры и иудейские отроки. Нэлка Воронель потом вспоминала в израильском мемуаре, как они, верные друзья молодости, мчались к нему в Калугу, спешно высыпая новости, должно быть, галдели, перебивая друг друга: отъезд-вызов-Иерусалим, а он:

– Погодите, какие евреи? Я не понимаю, кто такие евреи.

Этот вопрос, заданный сыном еврейского писателя Марка Даниэля, повесил в комнате обалделую паузу. Вопрос был чудовищно старомоден. Юлий просидел пять лет, пять лет до того мы о национальности если и говорили, то иначе, когда дело шло о процентной норме, о приеме в институт, о работе, так ведь норму завели «ОНИ», а не мы!

Итак, пауза нависла вплоть до взрыва общего хохота, а Майя Улановская[11] сказала:

– Да что с него взять? Дикий человек из эпохи до Синявского и Даниэля!

А он, Юлий Маркович, навсегда оставался диким по отношению к проклятому пятому пункту анкет. Не чурался своего еврейства, не кичился им, просто в этом направлении не размышлял.

Майя была права, тысячу раз права, потому что судебный процесс по делу двух писателей, Синявского и Даниэля, открыл новую эпоху в стремительной смене времен и «МЫ» вступали в новую фазу.

Писали в инстанции, надеялись «их» образумить, процесса не устраивать, писателей выпустить. Вадим Меникер, экономист, сообщал правительству, какие убытки понесет отечество на международном поле, если доведет дело до процесса. «ОНИ» довели. Образумить их было нельзя, в диалог они не вступали, на письма протеста и увещевания отвечали на своем языке – увольнениями, угрозами, арестами. Меникер уехал, уезжали другие. Оставались пустоты, бедствие потери, сиротство.

По отбытии срока уехал Синявский.

По отбытии срока Даниэль остался.

Его спрашивали, зачем остался, что ему здесь нужно и почему не едет.

Он отвечал:

– Не хочется.

Шафаревич обвинил всех отбывших в том, что они сбежали, не выдержав давления. Даниэль ответил резко: «Равнодушно вычеркивать их из списка живых – самоубийство. Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ».

Слышите, как сильны голоса нашего прежнего единства, нашего «МЫ»?

* * *

Собирая чемоданы, споря, что брать, что оставить, а также продолжая полемику «ехать – не ехать», друзья мимоходом поминали нам того многолетнего узника, который отказался выйти на волю. Остающиеся, со своей стороны, рассказывали про Бахтина, как они с женою обитали в тюрьме города Саранска. Тюрьма была патриархальна, Бахтины держали кошку, вольную настолько, чтобы пригуливать котят. Котята народились, когда

объявили вольную и Бахтиным: они же сказали, что не могут покинуть камеру, пока котята не откроют глаза и не окрепнут. Вообще же куда легче было объяснить причины отъезда, чем причины, побуждающие не ехать. Мы бормотали невразумительное, дошли до того, что пустили в ход березки, с которыми никак нельзя расстаться. С таким же успехом абориген мог отстаивать привязанность к Австралии с помощью кенгуру. Растительный аргумент наш потерпел полное фиаско, когда Саша Воронель перед самым отъездом заявил, что ему крайне жаль оставлять как раз березки. Но оставил.

Итак, мы уезжали.

Итак, мы оставались.

Проводы я ненавидела, эти опустошенные квартиры, эти бесстыдно оголившиеся стены, эти «МЫ» – бесформенной толпой. На целую толпу соседи готовили лохань холодца, на него шли копытца целого стада. У соседей на Руси такая служба – трудиться на поминках. Провожали на тот свет, расставались навечно и в последний раз были вместе. В последний раз.

У Чаянова есть повесть про последнюю любовь московского архитектора М., случившуюся с ним в Венеции. Это повесть о сросшихся сестрах-близнецах, одну из них настигла любовь московского архитектора. Другая рыдала той душной ночью, кусая подушку. Бывает – сросшихся подвергают операции разъединения. Близнечный миф долго трепыхался в нас, рассеченных, не желал мириться, мстил за то, что с ним не посчитались, морочил. Может быть, мы не разлучались?

Что тебе снилось, Толя Якобсон? Пастернак тебе снился, «Вакханалия», ты не захватил машинопись с собой, писал Юне Вертман, чтобы срочно прислала. А как прислать? Не пропустят, ни за что не пропустят. Юна написала своим красивым почерком круглой отличницы: «Я так скучаю, что от тоски стала писать стихи, рискнула послать тебе:

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет и служба идет.

И – всю «Вакханалию» до конца. Тоша ответил: «Для начинающего поэта вполне сносно».

По привычке мы пытались шутить, дома мы завели общий навык подмечать забавное. Остроумная зарисовка ценилась.

В одном из первых писем с еще незнакомыми израильскими марками было: в Израиле, как в Греции, все есть. Чего тут не

увидишь! Мужик из-под Рязани лупит белобрысого сына, поскольку на чужой стене появилось выразительное русское слово, парнишка ревет – не я! – но папаша продолжает учить, приговаривая: врешь, гад, жиды этого не умеют.

Мы видели сны. В Париже Галичу снилось – он в Москве. Раннее утро, идет от Маяковской по Горького до магазина меховых шапок, заходит в телефонную будку, но звонить не может. То ли монетки нет, то ли записной книжки, или звонок отбывшего слишком опасен для оставшихся. И он не позвонил, потому что между нами не Сена и не Москва-река, а река Стикс и телефонная связь через нее отсутствует.

Мне долго снился сон: попадаю в страну Израиль, во сне она похожа на Бухару и Коктебель сразу, запах горячей пыли и соленое предчувствие моря отчетливые. Навстречу идут мои уехавшие подруги, казалось – больше не увидимся, а я вот их вижу. Они загорели, они моложе, чем когда уезжали, смеются, щебечут и, разумеется, спорят. А я отступаю в тень, хотя тени здесь нет. Хочу смотреть на них, но не желаю, чтобы они увидели меня. Я боюсь, что они меня не узнают. Горечь этого сновидения проходит лишь с первой утренней чашкой кофе.

Америка нам снилась в раннем детстве, мы читали про индейцев. Индейцы нашего детства носили бисерные штаны, любили блондинок в голубых оборках и свободу. Нам хотелось к индейцам, я лично была знакома с двумя мальчиками, которые подсушивали хлебные корки на крыше сарая и готовились бежать в Америку. Думаю, они давно уже там, а в резервацию заглянуть позабыли.

В Америке оказалось много наших, первой к ним летела Люся Улицкая. Пересекла Лету. Лета оказалась всего только Атлантическим океаном. Люся, вернувшись, сообщила важное.

– Наши там совсем изменились. У них клеточное строение переменилось, все стало другим – кожа, волосы, ногти, экология ведь совершенно другая.

Люся по образованию генетик, ее заключение о клетках всполошило: что же, там нас подменяют, что ли?

Скоро и я посетила Америку. Наши лихо мчались по автострадам, гордились стеклянными исполинами Нью-Йорка и гигантскими кактусами Калифорнии, они оказались ничем не хуже российских берез. Наши говорили: тут такой Тулуз-Лотрек! Воспоминаний мы, кажется, избегали. Или так: каждый помнил свое. Но не наше. Подруга Наташа, ставшая совсем американкой, попросила: если у вас там есть что-нибудь хорошее, пожалуйста, не говори мне об этом. Ты не обиделась?

Нет, не обиделась. Отношусь к ее просьбе с уважением,

потому что в ее снах, счастливых и благополучных, работал ржавый, как старая мясорубка, вечный двигатель – «я был прав, что уехал, я был прав». Он работает в ритмах сердца, шунтированию не подлежит.

Как тот раввин из печального в своей безнадежности местечкового анекдота, я могу сказать старым оппонентам: и ты прав и ты прав.

Дело оказалось не в выборе места жительства. Даже не в толковании слова «свобода». Мы пожертвовали нашим единством, а потому нас томили инвалидные сны: часть меня ампутирована, но болит по ночам перед непогодой. Кто проверял, быть может, споры на тему «прав – не прав – ехать – не ехать» оживляются перед ненастьем?

Племени «МЫ» не повезло, его разъединили.

Племени «МЫ» еще как повезло: дотяни мы все вместе до сего дня, перессорились бы, перегрызлись и уж непременно бы разъединились, потому что все прежние единства в новые времена распадаются на атомы, а атомы нынче злые.

А так – у нас оставался миф, миф близнечный и возвышенный. Но для того чтобы он сохранялся, необходим этот самый двигатель: я был прав, я был прав, я был прав!

Сент-Женевьев-де-Буа, обитель русской печали

Отец Силуян был стар, хоть и добрался до кладбища на велосипеде. Он привык к приезжим соотечественникам, имел для них текст и говорить начал сразу.

Обычные кладбища печальны, исторические кладбища – это трагедия. Кто кого убивал, на ком чья кровь?

Странен был путь его мысли здесь, близ Парижа, и семьдесят лет спустя. Но для него что-то остановилось в тот крымский день, когда пароход увозил его в изгнание навеки. Вдруг он стал бойко начитывать долгие частушки, поясняющие, кого следует бить. Бить следовало всех: увез-таки сувенир с родной земли!

И рассказал про русского генерала в изгнании, милейшего человека, между прочим. Тут и похоронили, а на похоронах кто-то шепнул о. Силуяну, сколько покойный врагов порешил с крайней жестокостью – ТАМ.

– Я пришел в ужас…

ТАМ, в России, убиенным ставили красные звезды на железных и деревянных пирамидах. Генерал лежал ЗДЕСЬ. Что он мог бы сказать в свое оправдание старому священнику?

Памятники Белой армии на французской земле каменные. Они отразили горечь чужбины, но не поражение, нет. Стать, выправка гардемаринов и полковников ушла в их обелиски и кресты. В низкие надгробия вмурованы фарфоровые медальоны с изображением погон.

А художники, писатели и поэты занимают среди умерших то же незавидное место, что и среди живых. По меркам отечества их памятники и не так чтобы плохи. Даже, пожалуй, напротив. Но они непостижимо горестны в своей безликости, и я не вспомню, нашла или нет могилу Евреинова, которую долго искала. Лишь Зинаида Гиппиус попыталась посмертно отличить Мережковского, поставив ему какую-то славянскую пагоду, массивную и с глубокой нишей, куда упрятана «Троица» Рублева, еще более стершаяся, чем подлинник. Да на черной мраморной крупной мозаике сияет золотое: «Сергей Лифарь».

О. Силуян показал скромную могилу Бунина, попеняв ему за то, что был талантлив в описании греха и соблазна, и похвалил скромную могилу Шмелева. У него сложились собственные отношения с покойниками.

Были б цветы с собой, положила бы их Бунину, да только здесь написано по-русски, что просят цветы не приносить.

Обидно, но, верно, от цветов назавтра мусор, и какой же мусор может быть в сердце Европы?

В неразберихе и бестолковщине московских старых кладбищ есть вызов Западу, где город мертвых выстроен так аккуратно, так четко. Аллеи, аллейки. И зелени ровно столько, сколько нужно, чтобы не зарастали надгробия и обелиски.

Но может быть, безликость памятников возвещает по-французски, что в смерти все равны? Вон рядом и французское кладбище такое же, только чище, почти стерильное. Это у нас – либо статуя (уж ТАКОЙ Высоцкий, только что не поет), либо и вовсе могилу забудут и стопчут. Да что говорить, говорить нечего: те великие имена, что написаны на камнях Сент-Женевьев, вряд ли оказались бы в выигрыше на кладбищах отчизны, а многим бежавшим просто гарантирована была бы безымянная братская могила.

Мы ведь не можем не убивать друг друга!

Нет, не знаки смерти печалят на этом кладбище, но знаки чужбины. Ну не всё ли равно, в какой земле лежать? Оказывается, нет.

Под Москвой, за деревней Салослово, в лесу было, говорят, кладбище французов от 1812 года, только никто не помнил уже, где оно. Баба Дуся, Евдокия Кулагина, видела его в молодости. Чуть грамотная, как она догадалась, что кладбище французское, – о том не знаю.

А Сент-Женевьев? Что читают на его крестах и плитах французы? Даже если надпись имеет французский перевод. Это нам они: Добужинский, Сомов, Коровин. Страницы, выдранные из родной культуры, хочется унести на место. Вот только на какое место, спрашивается? Как воскликнул негодуя Венедикт Ерофеев по поводу наследования традиций: советская интеллигенция уничтожила русскую интеллигенцию, а теперь претендует на наследство?!!

Стайка юных французов идет к своему российскому прадеду. Тут очень тихо и светло, в отдалении белеет православная церковь.

Большое кладбище. Как много их здесь…

Как много русских писателей в изгнании! Мы учились любить их в виде старинных страниц цвета слоновой кости, где стройна гарнитура шрифта и где были лишние (для нас) буквы. Мы читали на жуткой папиросной бумаге слепые, расплывшиеся тексты самиздата, и бог весть как сквозь это безобразие продирались. Потом их привозили из-за рубежа, под блестящей легкой обложкой, а мы их прятали.

Теперь мы ничего не прячем – и исчез ореол тайны,

трагической или потешной, вокруг имен «русского зарубежья», читаемых свободно в наших журналах. Вместо глубокой конспирации («принеси мне кофточку, буквально на одну ночь, голубенькую, ну, ты понимаешь») мы говорим так убийственно прямо: «Дашь Бердяева почитать? Алло, плохо слышно».

Но это наши трудности. А что было с вами? Кажется, вы тоже жили трудно в европейском раю, вплоть до порога подлинного рая.

Вот читаю Берберову о русских во Франции, удивительное дело: и люди неплохие, и помочь друг другу хотят, а ничего не получается, прямо как в пьесах Чехова. Да Берберова еще благодушна, почитайте Тэффи. Тэффи писала «Городок». Городок этот окружали не луга и рощи, а улицы «самой блестящей столицы мира». Но жители городка плодами чужой культуры не пользовались.

Оказывается, мы и в Париже видим только себя. Ну конечно, тут речь не о Миклашевском и Лосском, речь о блондинах и брюнетах, служивших в трактире малороссами и цыганами. И все-таки – что-то слышится родное, когда читаешь: «Все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных».

Ссорились? Да еще как! И мы ссоримся, а иначе не можем. Все они теперь мирно соседствуют друг с другом на Сент-Женевьев, Тэффи тут тоже. Я нахожу ее могилу. Она знала, что в «городке» никто никогда не поймет другого до самой смерти. Смерть представлялась ей небесным кораблем.

Как черный Серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною.
Но люди не поймут, что он уплыл со мною
И скажут: «Вот она сегодня умерла.

Старый «городок мертвых» окружили поля для следующих поселенцев. Эмиграция второй волны почти растворилась в нем, третья волна осваивает пустынную целину.

Памятники подвластны новым международным стандартам. Памятники убывают в объеме, истончаются, чаще теперь это плиты, стоящие или лежащие. Они пока не вросли в кладбищенскую среду, да и среда вокруг них еще не сложилась. Оттого безмолвные надписи так отчаянно кричат об изгнании.

Александр Галич.

Виктор Некрасов.

Андрей Тарковский.

Как перекличка после боя – почти слышу отзыв: «Пал за Родину», ответ из-под земли.

Родина отправила в путь очередных странников, а черный фрегат поджидал и дождался их в Париже.

Художник Кишилов, художник Арефьев.

Земля им пухом.

Французская земля.

Мы ведь не можем… не можем иначе.

Если не дают чаю

«Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем», – говорил подполковник Вершинин, ухаживая за одной из трех сестер и рассуждая о светлом будущем.

Сегодня мы в основном рассуждаем о будущем темном, но расхожее представление о философии мало чем отлично от представлений батарейного командира чеховской поры.

Что же дает мне основания полюбить книгу Александра Пятигорского, философа, да еще и названную «Философия одного переулка»? Ровным счетом ничего.

Но перечитываю «Переулок» вновь и вновь. Так можно привязаться к писателю, если, по крайней мере, понимаешь, чтó он пишет: ну, Гофман, ну, Майринк.

Тому, кто «Философии одного переулка» не читал, не зная об ее существовании или испугавшись того, как она называется, – попробую объяснить, чем привлекательна для меня эта проза, не философия (по причинам, указанным выше), но именно проза.

Мне кажется, люди моего поколения, называемые стадным термином шестидесятники, пишут о своем детстве гораздо чаще, чем другие. Те, кого угораздило родиться на пороге тридцатых, лишь на пороге шестидесятых начали размышлять на тему, что такое наша действительность и ты сам в соотношении с нею. Такая запоздалая деятельность разума – двадцать лет спустя – побуждает видеть действительность в крайне невыгодном для нее свете, в то время как сам мемуарист дает понять, что он уже в нежном возрасте стал жертвой несправедливости.

Что ж, той горечи имеются исторические резоны, как-никак наше детство множится на цифру 37, и этот постоянный множитель – год массового удаления отцов – пожалуй, пригодился бы фрейдисту, читающему наш очередной мемуар.

Пятигорский попал в то же поколение, вырос в Обыденском переулке и много лет спустя, уже поменяв московскую прописку на лондонскую, вдруг предался отечественному соблазну писать о временах детства.

Но где он, столь привычный персонаж воспоминаний, авторское «я», уменьшенное до размеров мальчика из интеллигентной, да еще и еврейской семьи, жертвенный козленок, принесенный на заклание двору и школе?

Его здесь нет.

Здесь есть философ.

Философ есть обладатель редкого свойства рассматривать сознание (чужое и свое) со стороны. Так изучают в микроскоп

каплю своей крови, а в телескоп философа можно в подробностях увидеть галактики сознания, и не исключено, что именно поэтому философ не догадывается пожалеть себя.

Быть может, это и есть свобода? Не знаю, откуда мне знать про свободу? Но в Обыденском переулке живут мальчики: Геня, Гарик, Роберт и маленький Ника, они как раз философы. Они как раз свободные люди.

Это странные мальчики, они спорят, но не ссорятся, а о том, чтобы подраться, не может быть и речи – они же философы! И когда волнуются, пьют чай стакан за стаканом, совсем как взрослые, и на вопрос, не завидно ли, что кто-то там катается на санках, отвечают не «ага!» или «еще чего!», но так:

– Я, разумеется, хочу иметь санки, но чувство зависти мне органически чуждо, – это Ника, он в повествовании главный, и, собственно, о нем написана книга.

Если вас заинтересует вопрос, каким образом получаются философы, после «Философии одного переулка» отвечаю твердо: это у них с детства.

Не исключено, что они просто от рождения знали, что жизнь – одно, сознание – совсем другое и что бытие его не определяет. Ведь, занимаясь кроликами в школьном живом уголке, не обязательно становиться кроликом, не так ли?

Специализируясь на сознании, юные философы отлавливали ход мысли с таким же упорством, с каким их сверстники об эту пору отлавливали шпионов.

Но что за странный мир их окружает! Это действительность, в которой отсутствует метрополитен, но в обыденском дворе есть площадка для самодеятельных выступлений строителей метрополитена, однако никаких строителей и в помине нет, там и собираются наши философы.

Беда апокалиптически беспардонно стучала сапогами в подъездах, сворачивала кнопки звонков, но философы как-то не боялись, и, надо полагать, именно любимое занятие – философствование – защищало их от страха. Хотя в их рассуждениях смерти отведено больше места, чем жизни.

Реальность тут как бы явлена на экране телевизора, но телевизор заминирован, взрыв может случиться, дети не застрахованы от удела взрослых, оказавшись в эпицентре арестов и расстрелов. (Впрочем, никаких телевизоров та реальность еще не знает – рано.)

Они серьезны, как афинские мудрецы, тем неожиданнее в мир мудрых мыслей вторгается говор детства.

– В стране, – доверительно сообщает один философ другому, – все вожди оказались предателями, потому что «все они

– в руках злых колдунов. Только Ворошилов – нет. Я это совершенно точно знаю».

Мало того, он еще и называет источник информации – союз добрых колдунов, в который он запросто вхож…

Ребячество, конечно. Но и метафора, внушающая уважение: из нее торчат уши мифологем, а к ним особенно чутки дети, совсем недавно запойно читавшие сказки. И Ворошилов удержался в положительных героях, потому что на коне: всадник – это рыцарь…

И есть какой-то каверзный умысел в том, что в фокусе событий оказались мыслящие дети: страна молода, а общество незрело и взрослые инфантильны. Моторная энергия действий, разогретая энтузиазмом, развивается в ущерб думанию, точнее – на месте думания. Многие ли тогда понимали, что происходит?

Понимал дедушка Тимофей, дедушка Ники. Тихий, умный, интеллигентный – нужно ли говорить, что Ника усвоил его манеру речи? Хотя дедушка менее старомоден в стилистических оборотах, чем внук. Мы его не видим, он присутствует без описания (впрочем, как и все герои книги), зато мы постоянно слышим его тихий говор…

Но как раз вокруг дедушки происходит совершенно неуловимый сдвиг в сторону странностей; в направлении колдунов, если не пренебрегать терминологией мальчиков.

В юбилейный год Пушкина Ника и Роберт выходили из театра после «Онегина» и увидели на улице невероятную группу мужчин, одетых с оперной роскошью. Один был особенно изящен, легок, светски непринужден – замшевые перчатки, утонченная трость, серебро набалдашника. Мальчики рискнули заговорить, незнакомец вступил в беседу. И, уже спеша к экипажу, который «такси», он обронил пророчество: Москва вступает в годину смертельную.

– Но почти никто не будет это время знать, как не знает его и сейчас…

Юбилейная пушкинская година инфернальна, смертоносный тридцать седьмой разверзнется нечеловеческой жестокостью.

«Этот человек в сером пальто – твой дедушка», – шепнул Роберт, ввергая Нику и читателя в мистический столбняк.

Когда же они вернулись, дедушка был, разумеется, дома. О это авторское «разумеется»! Мы очутились в обществе оборотней, хотя б и не вредных, но все же… Причину столь внезапной раздвоенности образа можно объяснить прозаически, порывшись в сюжете, но нет охоты. Потому что воздух вокруг дедушки Тимофея наполнен тихим мерцанием тающих масок, исчезающих ликов, они играют своею образностью, жонглируют обманчивыми

эффектами узнаваний и сомнений, они есть знаки на пути познания и памяти и требуют от читателя некоторого запаса если не посвященности, то хотя бы знаний. Тут лишь упомянуты отец Павел, Василий Васильевич и много иных имен без фамилий, с которыми дедушка Тимофей общался в прежние времена в ушедшей жизни. Имена составляют трепетный фон, это пространство культуры, затонувшей, как Атлантида, а ее призраки роятся вокруг дедушки Тимофея, который был лично знаком и с отцом Павлом Флоренским, и с Василием Васильевичем Розановым. Лишь один призрак, помянутый вскользь, Георгий Иванович, умеющий читать тайнопись орнамента на восточном ковре, воплотился в добродушного философа, беседующего с Никой, но уже в «другом измерении». Впрочем, и в этом измерении, которое можно называть «дорога в Париж, или бегство из социалистической России», нам по-прежнему не говорят, что этот плотный и, можно оказать, агрессивно земной человек – не кто иной, как Гурджиев, знаменитый маг, прагматичный чародей, создатель таинственной системы взглядов на нераскрытые возможности человека.

В поезде, уносящем их в другой мир, происходит странный разговор в купе – ибо при наличии собеседников Георгий Иванович ведет свой монолог. Этот человек с бокалом арманьяка, в обществе прелестной собеседницы и мальчика, готового стать его учеником, его «челой», и просто слушателя в виде дяди Фердинанда, – вещает истины. Истины замкнуты на самих себе, и мы, понимая каждое его слово, все-таки оказываемся перед узором восточного ковра, тайнопись которого никто не собирался нам открывать, и потому мы попросту стряхиваем на него пыль со своих подошв.

Кажется, мы столкнулись со структурой сакрального текста, дающего каждому ровно столько, сколько он способен взять. Тут, очевидно, скрыто некое сообщение. Как вообще все сакральные тексты, они ни о чем не информируют профана до конца, высылая стражей тайны – остряков, простаков, балагуров, мастеров морочить голову и отводить глаза. Не обошлось без такого хранителя и в «Философии одного переулка», о чем непременно скажу.

Свойская, но отнюдь не фамильярная манера называть великих по именам и отчествам, уклоняясь от фамилий, указывает, во-первых, на орденскую замкнутость культуры («все свои»), такой особый внутрисемейный характер. Во-вторых, тут живое напоминание о времени людоедском, когда фамилия, произнесенная вслух, грозит опасностью быть заподозренным в контактах. Или еще того хуже – назвав известную фамилию,

можно нанести убийственный вред ее обладателю. Таковы упоминания и умолчания эпохи подозрений в преступных антисоветских заговорах, и это усиливает десятикратно чувство опасности, открытое взрослым спутникам мальчиков.

Авторы и режиссеры этой кровавой мистерии явлены здесь в виде наглых фантомов. Ника столкнулся с ублюдками Левиафана, как называл вождей смертельно тоскующий бес, ряженный в чекистскую черную кожу, с ним Ника тоже встретился. Ублюдки едва не сбили мальчика правительственной машиной (что попросту символично), потом посадили к себе на колени и подвезли, реализуя популярный в искусстве тех лет сюжет «вожди и дети». Ника рассмешил их своей старомодной интеллигентной речью, он говорил «на языке несуществующих отношений», как проницательно заметил один из ублюдков. Инфернальные твари бесспорно образованны, убийцы культуры с виду к ней принадлежат, но кто они – не знает Ника и едва ли догадываемся мы: их имена шифруются прозрачным, но и обманным шифром, коварно и мучительно о ком-то напоминая, мы их, конечно, знаем, но не можем узнать.

В этой сцене столько же допустимой жизненной правды, а точнее, жизненной возможности, сколько горения подожженной серы, чадящей на театральный манер.

Ирреальность и реальность, очевидное и совершенно невероятное бесстыдство подменяют друг друга, как, впрочем, это вообще свойственно нашей действительности. Понять это, не прожив российскую жизнь, абсолютно невозможно, и не случайно Запад, пока ему не надоело узнавать про наши дела, – заключал, читая «Архипелаг Гулаг»: этого не может быть, не умея добавить по-нашему – потому что не может быть никогда.

Экстремальные условия бесцеремонно размывают границу между жизнью и смертью. Роберт вполне осознанно выбрал губительный путь. Принял «причастие буйвола», как говорил Бёлль, или: поступил под знамена Левиафана, как может сказать Пятигорский. А проще: избрал военную карьеру и, оставаясь философом, понимает, что выбрал смерть. Не потому, что его убьют на войне, а потому, что до того, как его убьют, он уже будет мертвее гвоздя. Он убит под Берлином. Но, может быть, его и не убили.

Дедушка Тимофей, кажется, был жив в конце пятидесятых, но только кажется, может быть, его уже не было к началу «оттепели».

– Что за мистический разговор? Почему в других местах Москвы и вообще космоса люди или живут, или умирают, а в вашем идиотском переулке они то ли живут, то ли нет? А нет ли во всем этом элемента шарлатанства? – строго спрашивает

обитателей Обыденского новый друг Андрей, конечно, тоже философ.

Но дело происходит уже в другом месте и, главное, в другое время: кажется, это начало шестидесятых, место действия – курилка Ленинской библиотеки, а наши философы выросли настолько, чтоб курить. Курилка – такой же клуб джентльменов, каким была площадка для выступлений строителей метрополитена. По счастливой случайности, чрезвычайно похожей на историческую закономерность, интеллигенция шестидесятых прибирает к рукам бесхозное хозяйство дедушки Тимофея, так что можно сказать, что ленинская курилка вместе с дымом дешевых сигарет заполнилась испарениями книг (или их светом), читанных дедушкой, а теперь читаемых внуками. (Знаменательно, что поколение отцов выпало из цепи «читателей», убитое физически или духовно.)

В курилке же и выясняется, что как раз дедушка Тимофей обучал мальчиков относиться к смерти едва ли не прозаически, и «мистический разговор» о жизни и смерти» в «идиотском переулке» не содержит в себе шарлатанства, а один из наших выросших философов замечает:

– Я вижу в этом, скорее, экзистенциальную шутку своего рода.

Форма пожизненно длящегося разговора героев создает особое, «не книжное» представление о тексте. Беседа изживает мысль прежде, чем мысль находит литературное оформление.

В «Философии одного переулка» движение мысли осуществляется в непосредственном звучании голосов, материя прозы обретает особую чуткую пластику, а слово – иной удельный вес, при фундаментальной загруженности информацией и смыслами, которые обращают книгу в массивный слиток ценного вещества, – слово летуче.

Все это имеет некое отношение к эпохе воспоминаний о тридцатых и к беспокойной поре шестидесятых, кажется, целиком выстроенных на слове, на говоре и споре – в курилках и на кухнях. Но о чем бы ни шла речь, она имела подводное течение, проходящее по тому самому времени детства: «почти никто не будет это время знать», но и забыть его не сможет, – никто, даже уехав в Лондон, Париж или Чикаго.

Геня определил ситуацию Обыденского как «промежуточную». Может быть, она именно такова для всего поколения Пятигорского. «Промежуточное» располагается между субъективностью восприятия себя и жизни и объективностью сознания. Быть может, другой первопроходец того же поколения пытался сказать по-своему о том же: я говорю об Андрее

Тарковском, о его «Солярисе» (именно его, и более его, чем Станислава Лема). Солярис – мыслящий океан – есть изолированное от нас объективное сознание, рядом с ним субъективное восприятие себя и собственного мышления отчетливо создают некую новую картину или новую реальность. Есть смутно угадываемая закономерность в том, что именно это поколение (и начинать нужно с Мамардашвили – Мераба, как он по-свойски упомянут у Пятигорского) занялось Сознанием. Сознание, постигаемое этой философией, освещает на свой лад культуру и религию.

Пятигорский пишет, что промежуточная ситуация имеет смысл только для одного, присутствующего здесь и сейчас человека. Она отлична и от пограничной ситуации (когда от твоего решения зависит судьба мира), и от «ситуации выбора», на которой выстроен экзистенциализм. В шестидесятые нас увлекали западные экзистенциалисты, но Пятигорский, вернее, его герои считают их бунт чистой риторикой. Быть может, эта риторика не вызывает почтения у мыслителя, лично прожившего промежуточную ситуацию.

Кажется, ирония – единственный способ не испытать смертельного ужаса перед чудовищами бездны. Ирония подобна зеркальному щиту Персея, в нем отражается горгона Медуза, на которую смотреть впрямую опасно для жизни. Но ведь и отражение Медузы не убирает ее из действительности, и смерть, которую она несет, слишком реальна. Тут и ставлю точку на аналогии, потому что мальчики философского переулка не обнажали меч, кровь горгоны их не привлекала. Сознание и кровопролитие все-таки несоединимы.

Однако вопрос, что такое быть живым или не быть, остается открытым.

Здесь все относительно. Абсолютно и ослепительно четко дано лишь бегство Ники.

Не крадучись в ночи с соблюдением необходимой для побега конспирации, но среди самого яркого, самого солнечного дня, на глазах всего города; да еще и в диком наряде, напяленном на мальчика как бы нарочно для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. И нас никто не предупреждал о том, что именно дедушка Тимофей задумал, а некто, совершенно нам неизвестный, осуществил дедушкин план, то есть удалил Нику в мир, кажется, лучший, и уж во всяком случае иной.

Но как этот трогательный домашний мальчик по просьбе дедушки выходит во двор, на солнцепек, холодея от волнения и печали. Как из чернильной тени к нему двинулся некто в обличье иностранца (да он и был иностранцем, мы в таких сразу

угадывали диверсантов). Как он напялил на Нику свой толстый заграничный свитер и вязаную шапочку, маскируя его под европейского мальчика, а на самом деле совершая обряд посвящения в иностранцы. Этот заграничный дядя Фердинанд превратил Нику в зимнего клоуна, нелепого среди лета. Мало того: Фердинанд еще вопреки здравому смыслу, следуя какому-то дурацкому перевернутому представлению о конспирации, отправляет его в столь диком виде пешком от Обыденского переулка до Белорусского вокзала. Как он идет один, обливаясь потом, но не отвергая шутовского наряда – мимо Арсенала, по Кольцу – к площади Маяковского. Оттуда к Белорусскому, а там – там его поджидали поезд, и дядя Фердинанд, и путь в ту самую жизнь, в которой уже в купе кормили черной икрой, и Ника по-философски выпил многие стаканы чая, отметив этим высшую точку напряжения своей жизни.

Весь этот неимоверный путь камуфлирует обряд инициации, мучительной и нежеланной, но предписанной дедушкой Тимофеем ради высшей цели. О высшей цели Ибсен говорил когда-то: «стать самим собой», а дедушка отправил мальчика за границу, чтобы он тут не стал своим ни для кого.

Своим для себя самого здесь, наверное, стать нельзя.

«Там» Ника стал Николаем Ардатовским, бизнесменом. Кажется, для дедушки Тимофея профессия совершенно не важна, можно и бизнесменом, дело не в этом. Тем не менее автор заявляет, что жизнь героя можно считать философской, потому что между жизнью и им никогда ничего не стояло.

Зато рядом с Никой возникает тень, персона-мираж, сам автор, тоже философ. Но между ним и жизнью всегда что-нибудь да стоит: по милости каких-то судьбоносных помех он, добросовестно собирая сведения о Нике и некогда проживая по соседству, умудрился ни разу не встретиться с ним на тесном пятачке общего детства.

Сей абсолютно невероятный факт он объяснил мимоходом и кое-как: в отличие от Ники он вел образ жизни рядовых обыденских мальчишек, не тот круг, так сказать, преграда между ним и жизнью – двор.

В качестве примера из быта рядовых обыденских мальчишек приведу впечатляющий случай: когда он, малолетний автор, позавидовал другу Гарику, непринужденно обронившему в общем разговоре – «культура релятивна», и повторил эти слова дома, в обществе взрослых гостей, «Гордон обернулся… и совершенно серьезно спросил: „Культура релятивна чему?“»

Жуткий момент, на правда ли? – повторил, как попугай, сейчас последует скандальное разоблачение выскочки и уличного

хвастуна…

Но дальше, дальше! Вот его ответ.

– Она релятивна лежащим вне ее духовным целям ее носителей и одновременно интенциональным состояниям, например созерцательности.

Можно не продолжать?

Но каков розыгрыш!

Кто бы мог представить себе, что шутки философа не уступают «шуткам, свойственным театру», как говорили фигляры и шуты.

Впрочем, припомним, что Ольга Фрейденберг пишет о родстве ранних античных балаганщиков со столь же ранними античными философами.

И все-таки – что в конечном счете стоит между автором и жизнью (по крайней мере, жизнью здесь), почему он так настаивает на своих несовершенствах, а в то же время выдает их мнимость? Что за шабаш иронии и самоиронии?

– Здесь всегда стыдятся за другого, – заметил дедушка Тимофей в одном из философских диалогов, в ответ на чей-то возглас «мне стыдно за тех, кто хочет выжить» (замечу: это разговор взрослых). Не в том ли причина самоотрицания (я же не говорю: саморазоблачения!), что автор предпочел стыдиться за себя, а не за других, изменив нашей генетически утвержденной склонности к рефлексиям нашей же загадочной души по поводу несовершенства мира и человечества.

Эта книга свободна от комплексов (и в этом фокус!) и прочего необходимого балласта, без которого дух, вскормленный русской культурой, воспарит, но подняться выше не сможет.

Преодолев силу тяжести в разумных пределах, проза Пятигорского приобретает редчайшее свойство: легкое дыхание.

Есть прелесть бытия там, где условия для бытия полностью непригодны, и прелесть эту оценит человек пластичный или легкомысленный, но и философ – тоже.

Мы выучились науке постоянного недовольства, правда эта наука не интересует того, кто познал цену усмешки и гротеска: они противоположны героизму, но в мужестве ему не уступают.

Однако легкую шпагу иронии, равно как и шутовскую маску, культура выдает лишь своим избранникам, других снабжает оружием более тяжелым.

Хотя культура, как мы теперь знаем, релятивна…

III. Синие кошки

Яблоко, рыба, яйцо

Когда мы пришли в мастерскую, мне сразу стало ясно, что Юло Соостер – гений.

Это не свидетельствует о моей проницательности. Просто в ту пору мы полагали, что вокруг нас немало гениев, и носились по мастерским московских художников в надежде открыть кого-нибудь. Ведь были случаи – Ван Гог хотя бы: никто не понимает, но мы-то поймем!

Шестидесятые годы только начинались. Художники учились свободе. Они допрашивали свой внутренний мир и прислушивались, ожидая ответа. От себя ждали прозрения, от нас – признания.

Мне запомнилось просторное ателье с окном в потолке, куда три живописца однажды втащили литографский станок, устремившись создать нечто эдакое – как у Пикассо. Они водили по бумаге сконфуженной кистью. Станок же печатал гнусные кляксы.

Юло Соостер обитал в невозможном дровянике. Из отопительных приборов у него была то ли свечка, то ли лампа. Юло над нею держал лист, чтобы на бумаге образовался опаленный круг. Он тогда рисовал яблоко. Все кругом было в бумажках, на которых нарисовано было яблоко – контуром, штрихом и точками. У яблок был коричневый обожженный бок.

Это были очень странные яблоки. Крепкие и тяжелые, они существовали мудро и мощно, как планеты. Яблоки были похожи на Соостера, хотя он не был круглым, наоборот, грубовато рублен и крепко сколочен. На него был отпущен материал с более тяжелым удельным весом, чем на других людей.

Наверное, ему одному была известна некая наука о свойствах яблок, нарисованных на бумаге.

По-моему, он сам себе устроил академию.

В прошлом сезоне он изучал яйцо.

Во всяком случае, он знал, чего хочет.

Выжить в таком сарае мог зимой только эстонец, подумала я. На самом деле там еще обитал Илья Кабаков.

Эстонец по-русски говорил не спеша, оснащая речь множеством свистящих в ущерб иным звукам. Он был невозмутим, но, возмутившись, забывал русский.

В лагере обращался к коллегам по заключению «сударь мой». Они полагали – потому что эстонец. Они думали, что все эстонцы говорят друг другу «сударь мой», только по-эстонски, принимая

его степенную старомодность, столь редкую в его поколении, да еще и в тех экстремальных условиях – за национальную самобытность. Русскому его в лагере обучали грузины.

На выходе из заключения он написал матери на свой родимый эстонский остров: встретил женщину (имя, фамилия), намерен жениться и прошу Вашего разрешения. Мать ответила: никак не ожидала, что ты можешь жениться на русской. Он пояснил в другом письме: она не русская, она еврейка – и получил добро.

Эстонки имели полное право не желать, чтобы их сыновья роднились с оккупантами, мы это хорошо понимали, и, хотя никто из нас лично никогда никого не оккупировал, имперская вина висела над нами тучей, не омрачая, впрочем, наших эстонских дружб и частых посещений Эстонии, куда мы направлялись, как паломники в Мекку.

Но Юло обладал врожденным чувством интернациональности и не навешивал на эллина и иудея ответственность за политику Эллады и Рима. Он как будто воспитывался не в замкнутой Эстонии сороковых годов, а на открытой ладони Монмартра начала века, в кипении многонациональной артистической богемы. Там художники сидели в кафе «Два окурка», селились в парижских мансардах, дерзили, швыряя в холсты пригоршни сияющих красок, женились на натурщицах, а всемирная слава уже расчищала в Лувре место для их картин.

Соостер в лагере копировал по заказу начальства репродукции из журнала «Огонек», кажется, Шишкина, так что вряд ли всемирная слава собиралась именно в это время проведать Соостера, заглянув в его барак.

Впрочем, он еще украдкой рисовал карандашом лица и фигуры зэков, наброски были крепки и завершенны. В лагере он был реалистом. Эстония тогда готовила студентов с первого курса в академики (по рисунку, по крайней мере), а его арестовали лишь на четвертом.

Барачное начальство рисунки отбирало, комкало и жгло. Обгоревший листок сохранился, набравшись дополнительной выразительности. Может быть, в глазах Соостера этот рисунок в благоприобретенной обугленной рамке получил новый художественный знак, знак вещи, стал артефактом. Но он кинулся в огонь. Ему выбили зубы. Он остался с металлом в улыбке навсегда.

Не отсюда ли потом, в Москве, подпаленные яблоки?

Но в Москве он уже удалялся безвозвратно от натуральной школы в направлении сдвинутых форм и постижения сути, плотно укутанной видимой оболочкой.

Из новых мест ссылки он писал философские письма об искусстве бывшим коллегам по заключению. Писал, что в западном искусстве ощутимо мужское начало, а в восточном – женское. Друзья сказали: «Все ясно. У него баба».

Но это была не «баба», это была Лида, «Лидка-абиссинка». С профилем острым, как лезвие, угловатая, будто подбитая птица, разлученная с полетом, и все не по-людски: не худая, но узкая, не высокая, но устремленная вверх, не красавица, но век не забудешь.

Они встретились в Долинке… Молчаливый эстонец преподнес ей подарок в газете и ушел. Развернув, она увидела на картине себя. Обнаженную. Она приняла подношение почтительного эстонца за плод алчных грез изголодавшегося зэка и впала в ярость. Швырнув картину, топтала ее до тех пор, пока ее черный разъяренный глаз не налетел на дату, педантично проставленную на обороте: оказалось, картину он писал до того, как увидел ее, Лиду. Она замерла. Судьба художника пристально разглядывала ее. Пожалуй, она испугалась.

С младенчества собиралась за короля, а вышла замуж за мужика с острова Хийума. Таскать бы таким, как он, валуны из каменной почвы острова до самой смерти, но такие, как он, уходили в море на край света. Они видели черные бури, горы в коронах огня и женщин с темной шелковой кожей. Бледное обуженное лицо Лиды было из капитанских снов, омытых соленой водой моря. В его старых рисунках было: Он и Она сидят в обнимку перед телевизором. Неужели он собирался уцелеть на семейном берегу и обойти стороной грозную стихию творчества? Не мог он не знать, что художник уходит в свою мастерскую, как капитан – в плавание.

Но она этого знать не хотела.

По субботам он возвращался. Долго мылся, переодевался, обедал, учил сына рисовать мельницы и съедал литровую банку варенья. Над единственным породистым предметом в их подвале – черном пианино без струн – висела картина: синие можжевельники стыли в синеве вечности. Соостер отлил их в начальные и конечные формы сущего. Они были: конус, куб, шар. Так могли стричь кусты в Версале. У Соостера было иначе. Можжевельники Соостера были на эстонском острове, а на эстонском острове мир был зачат и завершен. Можжевельники Соостера были формулой вселенной, выведенной на границе бытия и небытия.

Это был художник, вступивший на путь поисков Истины.

В начале шестидесятых Истину искали приблизительно так же, как в пору Колумба – Индию.

Мы все делились по роду войск на физиков и лириков, но неизвестно было, кому откроется Истина и какой она потребует предъявить диплом.

Картина мира, сложившаяся к началу шестидесятых, растрескалась на глазах, и ясно было, что мир вовсе не таков, каким на ней изображен. Картина являла собой какой-то допотопный пейзаж с коровой, но мы ощущали гул открывшегося пространства. Физики писали формулы, художники – картины нового толка. Искусство московских подвалов изучало букварь мироздания. Соостер, Юра Соболев решили изучать все на свете, отвергнув все, чему их учили прежде. Они намеревались обложить Истину со всех сторон, завлекая ее чувственными видениями и пуризмом точных знаний. Своими наставниками они назначили маньеристов, Эйнштейна, Грофа[12] и Витю Тростникова, физика. До некоторых откровений шаманизма они дошли сами, осваивая вертикальную модель мироздания.

Времена менялись. Железный занавес, замыкавший нашу жизнь наподобие Великой Китайской стены, начинал ржаветь, кое-где прохудился. Из скважин тянуло опасным ветром. Долетали: музыка, фильмы, альбомы божественных репродукций, книги и – настроения.

Мы надеялись, что западные художники уже открыли истину, а мы попытаемся открыть их. Но Соостер и Соболев, собирая вдруг хлынувшую информацию, сохраняли полную самостоятельность.

В их творчестве все становилось значительно и многозначно. И если Юло писал огромное яйцо цвета раскаленного железа, можно было не сомневаться, что, несмотря на пасхальную роспись и праздничные банты, оно лежит на поверхности неведомой планеты в тридесятом измерении и в нем развивается, скорее всего, эмбрион мировой души.

Если же он писал рыбу, то его рыба могла подменить собою кита, на котором, как широко известно, держится Земля, даром что смахивала лицом на норвежскую сельдь.

Однажды под Новый год привезли мне в подарок заполярную рыбу таких размеров, что тотчас ринулась я звать Соостеров. Кто же оценит, если не Юло? Рыбину, обернутую синей бумагой, положили на гладильную доску. Истинное произведение Соостера! Собственно, он с произведением и справился, хотя к прочим гостям проявил королевскую щедрость. Утром они с Толей Якобсоном, чудом уцелевшие от всеобщего сна, вымыв посуду, доедали на кухне рыбью голову, Юло говорил:

– Если мы представим себе, что есть такие плоские, вырезанные из бумаги существа, то им будет недоступно, как это

мы живем в трех измерениях. Они не поймут глубины. А теперь представь себе сложно организованное существо, оно живет не в трех, а в четырех измерениях. Но четвертого измерения нам не дано увидеть.

Вот оно что: они с Соболевым пробивались туда!

Когда художника тянет в этом направлении, он отвергает реальность и начинает выстраивать свое творчество, можно сказать, не на натуре, на культуре; на этой «второй природе» он строит свою, третью. Так было с символистами, туда же устремится авангард, озаряя своими всполохами время от времени весь двадцатый век. Соостер должен был участвовать в спектакле (не помню в каком) театра «Современник», его установка могла бы стать видом на жительство художника такой ориентации: реализм обстановки (акт I), все то же, но нарисовано, то есть переведено в ранг произведения искусства (акт II), и обломки изображений, готовые вступить в новые комбинации по законам «третьей природы» – акт III.

…Итак, Якобсон стал спорить. Дальнейшего движения беседы не помню, но ее начало зацепилось в памяти в качестве ключа к явлению, называемому «Работы Ю. Соостера накануне семидесятых».

А то, что Якобсон принялся спорить, – тоже ключ к двери, за которой осталась наша тогдашняя жизнь, и мы сообща решали все возможные и невозможные вопросы, например, каким будет искусство. Но истина не рождается в спорах. Она вообще не любит шума, а мы изрядно шумели.

В ту пору мы много и подолгу разговаривали, но нигде не набивалось более людей, чем в подвал Соостеров на улице Красина. Я не знаю всех, кто туда являлся, но часто этого не знали и Соостеры. Художники, актеры и поэты. Подруги художников, актеров и поэтов. Друзья поэтов, художников и актеров и просто их знакомые или незнакомые вовсе. Но спорили все.

Однажды какая-то совсем случайная компания, направляясь к Соостерам, задела самолюбие другой компании, уличной. Задетые явились требовать сатисфакции. Тщетно Лида взывала к гостям, спрашивая, кого там вызывают на бой, – ее просто никто не слышал, да и невозможно было услышать!

Так что драться пришлось ей. Освежив в памяти уроки женской зоны, она вышла из дома и приступила к делу. Их было несколько, но они понесли урон. Она вернулась к гостям с синяком на узкой щеке, и зуб шатался. Впрочем, спорщики этого не заметили, не отвлекаясь на посторонние сюжеты от главной темы. Спор шел о Сальвадоре Дали.

Гул, дым, польская водка, болгарские сигареты и кофе в количествах, соответствующих в нашем представлении западному образу жизни. Девушки на тонких каблуках похожи на женщин Ремарка. Художники в грубых свитерах похожи на мужчин Хемингуэя, и даже кое-кто – на самого «старика Хэма». Потому в ход пошли трубки. С трубками Соостер и Соболев стали похожи на интеллектуальных капитанов дальнего, чрезвычайно дальнего плавания.

Соостер, всегда трудившийся в своей мастерской, вдруг оказывался в гуще гостей самым мистическим образом, и это вообще его свойство – он всегда в мастерской, но всегда где-нибудь оказывается. В театре «Современник», в кафе «Артистическое» – это наш тогдашний Монмартр. Он там же, где все, но в отличие от всех никуда никогда не спешит. Это мы спешили на Таганку – вдруг закроют? читали новую прозу в жуткой спешке – вдруг запретят? Кажется, Юло как-то иначе реагировал на аптечные дозы допущений, позволяемых свыше.

Мы твердо знали, что читать надо «Новый мир», но не «Октябрь», а Соостера этот водораздел не интересовал. Он ходил в мастерские художников, «своих», конечно, но и не только. Его интерес к чужому творчеству был откровенен, недоброжелательности не помню.

Внимательнее, чем остальные, он рассматривает нахальные рисунки одаренных юношей и не спешит вместе со всеми смеяться над реализмом старика Лактионова. В нем явственно была выражена идея артели и братства мастеров – эстонская выучка старинного цеха. Именно такими я вижу степенных средневековых таллиннцев. Мне кажется, старый мастер знал цену своему труду, представлял значимость работы, но искушению высокомерием он поддаться не мог.

– Соостер был романтик, потому и отзывался обо всех так… мягко, что ли, – сказал художник Эдик Штейнберг, часто посещавший подвал на Красина.

В ту пору, когда жил Соостер-романтик, московский андерграунд накапливал силы для встречи со всемирной славой. Она вынесет их из страны, и они обучатся жить в цивилизованном мире и ненавидеть друг друга. Но Юло на этом празднике жизни уже не было, он умер в 1970-м.

Однако первый поцелуй мировой славы он все же успел получить при жизни.

Андерграунд, он же авангард, вдруг оказался допущен на выставку в залы Манежа. Залы Манежа к тому времени являли собою художественный вариант Выставки Достижений Народного Хозяйства. Пришельцы были мутантами, в государственную

структуру прокрустова творчества они никак не укладывались. Во всяком случае, Хрущев, тогдашний правитель, ничего подобного отродясь не видел. Он вообще вряд ли видел что-либо, кроме репродукций в журнале «Огонек». Но вопреки популярному мнению берусь доказать, что он оказался чуток к искусству. У новых картин, у новых скульптур его по-настоящему шибануло током высокого напряжения, а ток высокого напряжения от них действительно исходил. Случился исторический скандал. На Юло он орал отдельно. От внезапности мата в этих стенах Юло забыл русские слова.

Утром воспитательница вернула малолетнего Тенно из садика. Когда вся группа безмятежно питалась манной кашей, Тенно сделал заявление. «Я дядю Хрущева не люблю. Он на моего папу кричал». Получив информацию из детского сада, Лида направилась в чулан искать оба лагерных чемодана. Я примчалась, когда она укладывала свой, с гордостью оглядывая личное хозяйство:

– Посмотри, какие у меня теперь теплые вещи, кофта, носков шерстяных две пары и вообще! А когда меня девчонкой в первый раз арестовали, я дура была, одни крепдешины.

Однако время шло, а чемоданы не пригодились, репрессий по поводу неугодного искусства не последовало. О выставках, разумеется, не могло быть и речи, но всем «героям Манежа» велено было давать работу в издательствах. Пусть себе оформляют книги.

Тогда в книжной графике и наступили перемены. Авангард, что-то уже познавший, выбиравшийся за пределы обозримого мира, получил в свое распоряжение журнал «Знание – сила», где главным художником стал Юрий Соболев, а также научную фантастику. Книжка в бумажной обложке «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери в оформлении Соостера стала событием. Планетарное сознание наших авангардистов получило здесь неожиданный поворот. Соостер наметил свой Марс и направил нашу неустойчивую фантазию на «научный» путь. Его рисунки убедительны, но это достоверность особого рода, он что-то уже крепко знал про не нашу реальность и выстраивал ее по ее же законам.

Иллюзорная свобода, спущенная сверху, провоцировала самоуправство, как две капли воды похожее на свободу творчества. Соостер на приманку не клюнул.

Не мне судить о том, что уже открыто и что еще откроется. Но когда я смотрю на его «Бесконечную делимость», я думаю, что он проник туда, куда познанию вход воспрещен.

* * *

– Юло, ты знаешь в Таллинне дом с привидениями?

Ко мне приехала подруга из Эстонии, мы сидели у него в мастерской на Сретенском. У него была уже самая настоящая мастерская, на чердаке знаменитого дома, возведенного в славную строительную эпоху. И хотя чердак он и есть чердак, место для художников и кошек, все равно: пленительные объемы крепостных стен и чугунный узор ворот, как в замке, бросали отсвет престижности и под крышу.

Но ход через чердак по бревнам и по извилистым проходам был столь мрачен, что тягостное ощущение не покинуло и за столом – мы пили чай. Вокруг Юло уже устанавливались размеренные ритмы Эстонии, вытесняя из помещения лихорадку московской суеты и мрачные тени чердачных коридоров.

Нет, он не знал, о каком таллиннском доме я спрашивала. Но когда он жил в Таллинне, у него была мастерская в средневековой башне «Длинная нога», вот там было. Раз ночью сами собой рассыпались по лестнице дрова. Знаешь, какой грохот!

Для него это не было сверхъестественным. Может быть, все, что для нас непонятно, невидимо, непознаваемо, он уже понял, увидел и познал.

Там у него марсианский мальчишка расшибал поленницу в древней башне и остывало яйцо, из которого уже никто вылупиться не сможет.

Они заговорили по-эстонски. Я перебирала рисунки-гротески. Женщина-кентавр, голова с глазом в губах. Сюжеты я знала наизусть, но никогда они не казались такими отчужденными.

Новая мастерская была огромна, а убранство ее мало чем отличалось от интерьера прежнего дровяника. Прибавилась лишь старая качалка, принесенная какими-то детьми из кучи дворового хлама. В таких качалках эстонские моряки, вернувшись в деревню на зиму, покачивались у очага как на волнах. Из той же кучи хлама прибыл ободранный чемодан, забитый тысячами нежных колесиков – имущество умершего часовщика. В чемодане в разобранном виде лежало время.

Я шла вдоль стен. От картин вдруг потянуло равнодушным холодом удаленности. Все, что было знакомо по домашнему кругу общения, так надежно связанное с близким человеком, почти что родным, уходило в чужое пространство. Охватила тоска. После я вспомнила – это было предчувствие.

Мы еще не привыкли к неизбежности разлук и, надо полагать, подозревали, что все это навечно – картины, друзья и

сердечные привязанности. Я оглянулась: боже, как далеко они были! Я долго шла к моим эстонцам через бесконечную, как вокзал, мастерскую.

– Что с тобой?

– Не знаю. А ты здесь не боишься?

Он сказал: нет, это особенный дом. Его строило акционерное общество «Россия», а квартиры разыгрывали в лотерею. Кто выиграл, тот и приехал в Москву со всей империи. Это дом счастливых.

Здесь была его мастерская.

И здесь он умер.

В субботу не пришел домой, Лида побежала искать. Взломали дверь.

Вечером после похорон мы собрались там в последний раз. Было очень много народу. Смерть его была страшна и непонятна. Сильный он был и очень здоровый, холодильник в новую квартиру по этажам внес один…

Я шла по мастерской, не узнавая ни людей, ни картин, шла в дальний край, где на невысокой приступке стояла его кровать, заправленная деревенским одеялом. Здесь его нашли.

Тут вернулся ужас, охвативший в последний приход к нему. Я знала, что когда повернусь, увижу нечто, имеющее отношение к беде, и, обернувшись, увидела маленькую дверь, раньше я ее не замечала.

– Куда она ведет?

Дверь вела в коридор. Через нее можно было войти из черных, как могила, глубин чердака, а была ли она заперта – никто не помнил.

И хотя мы никогда не узнаем, приходил ли кто-нибудь сюда в роковой час, знаю наверняка: через эту дверь в комнату вошла смерть.

* * *

Картины его мы отправили в Тарту, в музей, поверив, что там будет постоянная экспозиция.

Постоянной экспозиции не было. По крайней мере, до новых времен.

На его могиле на таллиннском кладбище Лида установила соостеровское надгробие – бронзовое яйцо.

Говорят, яйцо пропало с могилы. Проверить теперь трудно. В Эстонию по новым временам мы ездить перестали.

А мастерская Юло, доставшаяся другому, сгорела дотла.

После спасения

По профессии он был художник, по призванию учитель жизни. И был он удивительно образован, и в знаниях его были глубина, широта и стройная система. Знаниями щедро одаривал достойных, но недостойным тоже что-нибудь перепадало, ему не жалко.

От природы был одарен такой мощной папахой волос курчавых, густых и жестких, каких в наших широтах и не бывает, она была его знаком отличия. Другим знаком отличия ото всех нас был его немецкий язык, и мне казалось – каждая мысль его удваивается, множится на два, становится более весомой и внушительной.

И давая мне по старой дружбе интервью для каталога к выставке в галерее «Московская палитра», говорил о себе торжественно и многозначительно, впрочем, не забывая о сдержанности и скромности. Образ, им создаваемый, был безукоризнен, все-таки он был превосходный художник.

Соболев говорил.

Я захотел одиночества, друзья погрузили в багажник ящик консервов, отвезли меня в Юрмалу, и я остался один.

Тут стало происходить.

Сначала прилетел Красный Шар, очень плотный. Он состоял из божьих коровок, они сцепились между собой намертво. Шар улетел в море умирать.

Потом появились чайки и улетели, но одна, подбитая, осталась. Она почти привыкла ко мне и, припадая на ногу, приближалась, разрешала себя кормить. Но она тоже улетела.

Затем появился голый мальчик. Он нес в одной руке трусики и ботинки, в другой длинный прутик. Мальчик шел, а прут следовал за ним, оставляя на песке линию. Мальчик уходил, линия оставалась. У нее не было ни начала, ни конца. Мальчик, чертящий бесконечную линию, дал убежденность в существовании Бога.

Таково устное свидетельство Соболева о существенном моменте его жизни. Картина соболевской пустыни, называемой прибалтийским побережьем, впечатляет:

наличием Бога и его коровок в едином времени и пространстве;

чайкой, обделенной полетом, но все же улетевшей;

библейским ритмом, медленно бьющимся пульсом величественной речи:

«И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления

зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним».

К утру Иаков познал, что боролся с Богом. Победителя и тогда уже не судили, но с избранника взыскивали всегда, хотя бы отметив хромотой, как сказано в Книге Бытия.

Позволено ли именно здесь, вернувшись к Соболеву, не к ночи попрекнуть диалектику в склочной склонности к борьбе противоположностей, что доставила человечеству столько хлопот?

…Верить в Путь, начертанный прутиком, но при этом искать Высший Промысел Вселенной в формулах физики, по дороге вступая в опасные связи с учениями всех мастей?

…Быть ограниченным в движении, но вопреки тому свободно передвигаться по одной шестой части суши, а после и по другим ее частям.

…Вдруг, на пороге шестидесятых, сделать карьеру чиновника от искусства – и добровольно сорваться, полететь вниз по социальной лестнице, ведущей вверх, и в прекраснейший из дней (опять же вдруг) оказаться в бродячем цирке.

Кем же? А кем придется. Но чтобы ездить с цирком, привыкнуть к его дремучему и острому запаху большого зверя, а самое главное – водиться с циркачами, в этом вся штука. Синдром Алеко, что цирк, что табор. Однако Соболев постиг там то, что упустил его романтический предшественник (за что и поплатился): закон сцеплений, связей, закон Красного Шара, летевшего над Прибалтикой. Что-нибудь ты сделаешь за другого, другой что-то сделает за тебя. Ремесло акробатов, канатоходцев, укротителей, в котором смертельный риск обычен, как конторская служба, возводило закон Красного Шара в абсолют.

Цирк кончился, но закон запомнился.

Однажды в Москве он вернулся домой и обнаружил в своей комнате трех черных музыкантов. Они сидели на полу, разложив перед собою его, соболевскую, картину будто ноты, и играли.

Но – как?

Их медитация ничего не ведала о соперничестве, в нормальном соревновании они просто ничего не понимали. Они играли по очереди, и то, что не довел до ума один, подхватывал бережно и доводил другой. Это было как любовь. Или как смерть.

Картину, привлекшую внимание нечаянных пришельцев, растроганный автор им подарил. Они ее сложили как газету и вместе с нею исчезли.

Они были хиппи, о чем необходимо сказать: Соболев был принят в Общество хиппи и был горд, как если б получил мальтийский крест. Путь в международное хипповое братство

пролегал, конечно же, через музыку. В их музыке Соболев был как рыба в воде, хоть музыкантом не был. Джаз открывал пограничные двери, проходил сквозь китайские стены, и они ехали к нему в коммуналку, нервируя соседей.

Но так или иначе – он получил от трех гостей еще один знак.

Его влекло растворить свое «я», чтоб линия на пляже заменила собою бесценный автограф, неповторимый вензель, который жадно отмывают в углу почерневшей картины триста лет спустя. Менее всего он озабочен определением своего места там, где искусство перекрещивается с жизнью, и потому он не настоящий шестидесятник, вернее, я хочу сказать: не характерный.

Он скоро потерял вкус к лидерству, предпочел роль терпеливого учителя. Он продуцировал идеи, но мало интересовался авторскими правами в кругу друзей. Иногда мне казалось, что причина тому – не отсутствие тщеславия, но та высокомерная вершина, с которой гордыня кажется мукою. Если и так, то свое местонахождение на этой самой вершине он вряд ли так уж ценил. Но в той точке было больше шансов раздобыть план мироздания или хотя бы угадать его рабочий проект.

Из эстетики шестидесятых он быстро вырос, она стала ему тесна, жала в плечах, раздражал ее затянувшийся дольше срока инфантилизм. То, что он хотел выразить, она не умела, приходилось брать взаймы у маньеристов, они оказались ему всего ближе: их техника, холодная и точная, как анатомия, отвлеченное бесстрастие исследователей и решительно никакой «массы экспрессии».

Художественный язык шестидесятых был бессилен сказать о Высоком. О бескорыстном Возвышенном. Когда при нем спор заходил об истине, он подозревал спорщиков в смертном грехе субъективности.

Изголодавшееся по свободе отечественное искусство злоупотребляло метафорой. Но он выдвинул теорию метафорического поля. Сужая метафорический круг, можно приблизиться к принципу неопределенности, о котором знают физики. Ему требовалась объективная реальность, независимая от него. В графике он стал прибегать к растру: дырчатость изображения предоставляла возможность оставить столько пространства, чтобы могло просочиться Возвышенное. Иначе говоря, он искал своего Бога.

На пути был тантризм, были суфии. Едва ли не закономерно он пришел к Будде. Потом продвигался в направлении Христа.

Запад сосредоточен на результате в виде великой картины или спектакля века. Восток куда равнодушнее к конечному

шедевру, там путь может явиться целью, потому и европейцы, обратившие лицо к Востоку, теряют вкус к индивидуальному свершению, к созиданию уникального. Как раз поколение Соболева во всем мире имело художников, к этому склонных. Гротовский и Питер Шуман [13] хотя бы. Между собою они не общались, но объективизм пути берет верх над идеей театра или спектакля.

Как-то летом он жил с друзьями на даче в Томилине. Дачное строение готово было разрушиться и впустить в комнаты крапиву и лопух. Сюда приехали к Соболеву американцы из Эсленской школы; школа занималась тонкими материями, в частности своеобразной групповой терапией, Соболев был с ними в контакте. Среди них был тихий американец в сане буддийского священнослужителя. После беседы, прощаясь, Соболев сказал: спасибо, что пришли ко мне.

– А я всегда тут был, – сказал посланник Будды.

На даче случился пожар.

Я стараюсь вывести прямую линию его пути и озадаченно вижу, что получается образ едва ли не монаха, хотя б и буддийского, что совершенная неправда. Жизнь Юрия Соболева всегда была одета жаркой плотью бытия. Были мастерская, сеансы и натурщицы, ученицы и просто красивые женщины. Однако земные наслаждения разворачивались навстречу творческому познанию. Диковинные особи рода человеческого и просто гении вращались вокруг него, а он не обращал внимания на разноколиберность этого собрания и отдавал дань не только лишь одним мирским удовольствиям, но и человеческим трагедиям тоже. Шестидесятые годы предлагали облик сильного мужчины с трубкой в зубах и бескомпромиссным подбородком. Групповое действо, называемое общением, происходило на европейский манер – кофе, джаз, альбомы репродукций, польский журнал «Проект», спор же был исключительно отечественного разлива в форме непересекающихся монологов. Но монолог Соболева имел особый удельный вес, его всегда слушали.

Вокруг него группировались открыватели и первопроходцы, уходившие с протоптанных троп, дерзкие и решительные. Они стремились уйти от фигуративности, потому что почти всегда искали чегонибудь, что лежало за пределами обозримого мира. Сейчас мне кажется, что при крайнем радикализме и возбужденной нетерпимости, ощущая себя обязанными бороться с рутиной, они не были кровожадны и не помышляли о скальпе идейного врага. Им было с чем выйти в Манеж и заявить о себе с тою вызывающей категоричностью, о какой в свое время заявили о себе импрессионисты. Зонтиками их полотна уже не протыкали,

бульдозерами еще не прессовали, просто они были обложены августейшим матом человека невинного, но страстного. Но я и сейчас думаю, что агрессивное невежество реагировало не на непривычную форму, но на прорывы к познаниям, – черви знают, что не нужно ползти туда, где бьет током.

Скандал в Манеже напомнил каждому супермену, что он приписан к своему полицейскому участку. Но он же в конечном счете и породил андеграунд, позиция детей подземелья оказалась плодотворной. В этих условиях вынашивались тайные мечты о жизни на Западе, тогда это было равносильно тому, чтобы пойти в шпионы. А Соболев принялся мечтать об острове. После того как Юло Соостер отвез его на свой родимый эстонский остров, Соболев понял, что ему без острова, хотя бы умозрительного, никак нельзя. Остров Соостера был окружен морем и небом и был не осколком материка, но осколком космоса – недаром свои островные можжевельники Юло обстоятельно пересаживал в непознанный грунт удаленных планет, тогда они оба занимались иллюстрированием научной фантастики. У одного была своя интеллектуальная Москва, у другого – своя Эстония. Они их подарили друг другу, можно сказать, обменялись – так меняются рубашками в ритуале братания. Оба они страшно много читали, жили бурно и работали как черти в поисках Бога.

Замкнутая Эстония открылась перед Соболевым и не закрылась после смерти Соостера. Контакты продолжались, особенно с Тынесом Винтом и его группой. Эстонцы вели поиски в сферах, Соболеву близких. В геометрических узорах лиевартского домотканого пояса они увидели перфокарту. Мировое пространство и закономерность бытия оказались пойманными в шерстяные петли – знания, смысл которых был утерян, передавали в поколениях безымянные мастера.

На карте Эстонии я отмечаю булавкой место, которое в жизни художника Соболева сыграло особую роль, – это Таллинн, старый город, где разумный прагматизм уживался с привидениями, гнездившимися в толщах каменных башен, и обделенный вниманием угро-финский свод магий отсиживался в андеграунде рядом с прогрессивным искусством.

От башен Таллинна какая-то Ариадна протащила золотую нитку исключительно для Соболева – к другим средневековым шпилям, это Прага. Впрочем, кажется, Прага была раньше Таллинна. Впрочем, это неважно: феномен Соболева должен отучить нас от скучного порядка хронологии, и Хронос у него носится как чокнутый туда и обратно, путая листки отрывного календаря с миллионами лет до окончания света.

Прага была щедра, она одарила гостя знакомством с

работами маньеристов, с доктором Грофом и романом Густава Майринка «Голем». Бесценные, но равнозначные дары отразились в зеркалах чешского барокко, все подавало знак. Майринк, заглядывая в глубины человеческой души, извлекал оттуда образы чудесные, но и жуткие. Лаборатория Грофа в сущности занималась тем же. Там вызывали к жизни тревоги эмбриона и простая клетка притязала на переживания космического порядка. Запредельность, которая внутри, что и есть дао, провоцировала искать универсальную схему сущего и не-сущего. Что ж, для Соболева эти поиски лишь продолжались, и только.

Он нашел: разыскал канон Изображения Сидящего Будды. В прямоугольнике, расчерченном по-школьному в клетку, разлетающиеся прямые чертили разомкнутые треугольники, предоставляя угадывать угловатый лабиринт и контур башни, завершаемой малой узкой звездой, будто тут собирались начертать новогоднюю елку, да не стали. Но тень мирового древа успела лечь в сетку. Сетка давала возможность свободному движению, множественности вариантов и исключала диктат художника, производя его в создание по законам канона. Будда предложил, а Соболев понял: театр, музыка, групповая терапия – все могло выстраиваться по этому плану общего мироустройства.

Они встретились с Михаилом Хусидом, режиссером синтетического театра. Может быть – синкретического; хотя он официально назывался театром кукол. Хусид и сам был склонен к тому, чтоб погружать спектакли в насыщенный раствор, составленный из эзотерических знаний. Они поняли друг друга с полуслова. В процессе изучения основ и тонкостей тантризма они поставили «Почту» Рабиндраната Тагора в Тюмени.

Они перевернули тантристскую схему с небес на землю, у них чакры имели свои системы соответствий, над сценой висел огромный, как планета, шар, в котором все время что-то изменялось, и слайд-проекции оставляли в воздухе свой призрачный узор. Как правило, в истории театра могучие притязания на вселенский охват остаются непонятными, а вопросы «зачем тюль и почему куклы похожи на индийские сувениры» исчерпывают круг проявленных к спектаклю интересов. Впрочем, городские власти спектакль приняли, не объясняя причин, и, не объясняя причин, в скорости его отменили. Но актеры играли «Почту» по ночам, тайно и для самих себя, отдаваясь суггестивной медитации и не желая с ней расставаться.

В Челябинске Соболев и Хусид не прекратили свой путь в направлении Востока. Они поставили: «Что было после спасения», скрестив текст Роберта Янга[14] и Сэлинджера, соединив дзен с

Бредбери. Что не случайно, ибо у него уже были опыты со сферической перспективой, с дробными кристаллическими гранями – пространства, в которых при жизни нам не бывать. Когда ранее Соболев – главный художник журнала «Знание – сила» собрал вокруг себя недурную гвардию графиков, убежденных в том, что искусство ясновидяще не меньше, чем наука, тогда и пошли манипуляции с пространствами, и я думаю, что именно они в ту пору поставили точку в дурацком комплексовании физиков и лириков. Между ними, помню, просто шло какое-то соцсоревнование, внося смуту и в без того зыбкую, неустоявшуюся, как свежая планета, культуру «оттепели», тронувшей вечную мерзлоту.

Итак, в «Спасении» было двухъярусное пространство, оно окружило зрителей своеобразным прогулочным двориком и погрузило в блаженное состояние, о котором аборигены говорят: «То было во времена сновидений». С тою поправкой, что времен как бы более не было и известное заявление «порвалась цепь времен», оказалось, следует принимать буквально. Возможно ли, чтобы пространство вступило в эпическое сражение со временем и одержало победу? Не думаю. Но так получилось. Пространство формировал модуль, модуль определил мебель, костюмы и, кажется, объемы воздуха тоже. Пространство стало жестоким и равнодушным, как природа, оказалось, после смерти все заполнят большие зонды, легкие шары, похожие на пузыри земли или на воздухоплавательные приспособления для вознесения правильных душ.

Но потом – потом они с Хусидом… Нет, не так. Мы вдруг обнаруживаем Соболева – Хусида в Царском Селе – в Запасном дворце, не больше и не меньше. Поистине имперские притязания. Но именно там возникла, расцвела и угасла Интерстудио, начинание театрального контура, в сущности же там контуром Соболев – Хусид собирались обрисовать человека будущего. Идеального, если правильно помню.

В этих краях такое уже бывало. Реформаторы театра уже собирались вырастить идеальное существо из актера, скроенного по восточным лекалам. Как раз этим собирался заняться Вс. Мейерхольд. Тогда этому помешала революция, теперь Соболеву-Хусиду – перестройка. Сперва обнадежила, впрочем.

Но идеи, как выяснилось, непотопляемы. Может быть, они еще пригодятся, а может быть, будут светить просто так, дежурной лампочкой над дверью, с надписью «Запасной выход». Так и назывался учебный класс Соболева на территории Интерстудио.

И снова провал в наших отношениях на годы, причины

провала – объективны, они были вне нас, и подолгу я о нем ничего не знала. Впрочем, долетел некий шорох, его и слухом-то назвать нельзя: какая-то юная душа в припадке тоски рассталась с молодым телом, и вроде бы можно было это предотвратить, а не вышло. О том писала Люся Улицкая, винила себя, Соболев, думаю, тоже. Во всяком случае, он занялся спасением юных душ, воспитанием молодняка неспроста.

В Интерстудио в его классе, который он набрал и вел, оказывались юноши и девушки, успевшие пережить беду, получившие рану души или травму юного тела. Соболев учил, а точнее сказать – лечил. «Мои подранки», говорил он. И подбирал подранков, как подбирают подбитую на лету птицу. Несут за пазухой, обогревают дома и лечат, конечно. Школа его врачевания могла бы называться арт-терапия, когда бы это название не поблескивало показным кокетством. В этом его «Запасной выход» как раз не нуждался.

Пережитое страдание из глубины неокрепшей души он извлекал на свет Божий, облекал в художественно обозначенный образ – и вылечивал, представьте себе! Он, кажется, постиг формулу панацеи, схоронившуюся в искусствах, ему современных и ему подвластных.

Я их видела – до лечения и после. Окрепнув настолько, чтобы вписаться в нормальную жизнь, они могли уехать в Германию и там преуспеть на поприще современных искусств – что ж, Соболев обучал и этому, хотя сам никуда не уехал. Мне кажется, он уже не испытывал интереса к преуспеванию, вряд ли оно ему было интересно.

Жизненно изувеченный полиомиелитом, предельно ограниченный в движениях, он не только умел преодолевать недуг физический, но и не позволил, чтобы недуг этот мог лишить его пожизненного победоносного суперменства. Мне казалось, он обрел душевную гармонию под домашним кровом, трепетно оберегаемым верной Галей.

Однако куда же привели торные пути этих богоискателей, Соболева и Хусида? Хусид вступил в пределы иудаизма, Соболев – в лоно православия, постигнув на собственном опыте, сколь неисповедимы пути Господни, хотя к ним могут привести любые тропы. И пути, уготованные искусствами, как оказалось, тоже.

Бегемот в лифте

Но, может быть, его в лифте не поднимали, просто он застрял, как серый рояль, на повороте лестничной клетки? – могу и забыть, прошло почти пятьдесят лет, тем более что мне того события видеть не довелось, и я помню это со слов Параджанова.

Во всяком случае, что-то было с транспортировкой: то ли его, бегемота, тащили по воздуху на канате, то ли как-то еще. Параджанов на день рождения сына пригласил неудавшегося гостя. Как там было у Куприна? Девочка и слон. Слона привели к девочке потому, что дом был старинный. А Параджановы жили в новостройке на высоком этаже, рядом с цирком.

Параджанов поддался грандиозности замысла с бегемотом. Как многие великие идеи, и эта была обречена разбиться вдребезги о реальное положение дел.

С реальным положением дел Параджанов считаться не собирался.

Было это в городе Киеве в ту пору, когда все находились во власти чар, мы были очарованы «Тенями забытых предков», Украина встрепенулась и оцепенела: прах забытых украинских предков встревожил пришелец, чудак, странный человек. Кто его поймет?

Киев таких людей еще не видел, только киевские князья знали ему подобных. Пришлых, неугомонных, потрясающих дарованием как бубном. Они зубы заговаривали, зверски хамили, плясали, непотребно задирая одежду, были невозможны и за то гонимы из душных покоев.

Только пир без них был пресен, и скучно становилось.

Их, скоморохов этих, изобразили на стене Софийского собора. Нарисовали по церковному канону – узкими, длинными, как кукурузный стебель, с поющим инструментом в кукольных ручках и кротостью во взоре.

Неправда. Были они кряжисты, широки в груди и скроены из материи дорогой и плотной, что водилась в дальних странах Востока; и из нее же в древние времена делали мифы. Глаз они имели опасный и тучные волосы, как у Параджанова.

Я не о том, что они его предки. Это само искусство высылает на нас своих бедовых избранников. Господи, прости и помилуй этих беспардонных клоунов, этих колдунов, напустивших на творчество ворожбу как порчу.

Спаси и помилуй нас, оказавшихся вблизи. Они невыносимы, и они сбивают с толку жуткими выходками.

Вот только когда отлетают, остается в небе черная дыра, куда

вытекает озон.

Мы едва познакомились и поссорились тут же. Откуда мне было знать, что он дерзит всем, что дерзости обязательны, как и слова радушия и привета, что всякого загонял он на Параджановы потехи, как вздорный шах, и то осыпал милостями, а то обливал холодной водой из злой шутихи.

Но мой взбрык оказался ему неудобен, он ринулся мириться, а помирившись, затащил в гости, нажарил карасей в сметане, высыпал их в серебряное блюдо, большое, как корыто в киевской коммуналке. Дом был полон гостей, без гостей он не стоял ни дня. Кто-то толпился в тесноте утлых комнат, заслоняя ковры, иконы, золотые церковные свечи, синего стекла вазу, деревенские цветы малинового воска и кроткую жену.

В ту пору мне не дано было понять, чем были для него вещи и какова природа этого странного человека. Я уезжала к себе в Москву прямо от карасей, он провожал. Гостям велел тоже идти на вокзал. Провожали, как родную тетю. По дороге он и рассказал о бегемоте, а, помирившись, забыл обо мне и не вспомнил никогда. Моя персона в этом эпизоде роли не играет никакой. Хотя с тех пор я его остерегалась в приближениях, дарованных мне судьбой в дальнейшем.

Царица Лиля

Параджанова можно было не видеть, но о нем невозможно было не слышать, не знать, что с ним.

Мы знали.

Вести летели из Киева наподобие почтовых голубей, но редкая птица долетала до середины Днепра с добрым сообщением на лапке.

Говорили, что после «Предков» вокруг него образовались пустота, безмолвие и бездействие.

Говорили, что он метался, как мышь под стеклянным колпаком, когда оттуда высасывают воздух для пользы дела, а мышь царапает стекло с яростью тигра.

Параджанова несло навстречу беде, а еще говорили, что он сам подгребал ей навстречу, втягиваясь в опасные игры, играя рискованные роли, заигрываясь как трагический паяц, – и вдруг сдирал маску.

Арест был неизбежен и, как всегда при неизбежности, внезапен. Судьба выдергивала из колоды карты одну хуже другой: казенный дом, дальняя дорога, пиковый туз.

Говорили, как его отправили в бытовые лагеря, в песчаные карьеры. У политических, по крайней мере, было интеллигентное

общество. Параджанов попадал к отпетым уголовникам. Говорили, что он болен, что погибает, потому что этот песчаный карьер «хуже вышки». Его швырнуло на самое дно ада.

Вытаскивали его со дна две властительницы двух эпох: Лиля Брик и Белла Ахмадулина.

Эпоха Беллы была вокруг и рядом, эпоха Лили удалилась в сторону памятника Маяковского, растворяясь в хрестоматийной перспективе.

Я сейчас не пишу о других. О великих кинематографистах мира с их протестами. Обо всех, кто старался его спасти. Я о Лиле и немного о Белле, потому что их имена нарицательные, как имя Елены из провинциального города Трои. Они вообще часто являются издалека, из Одессы, из Пскова, приходят в столицы за своим законным венцом.

Лиля была коронована поэтом; подобно Марии Стюарт, оказывалась в опасной опале; но в отличие от Марии была везуча и сумела прожить без малого столетие.

Когда она умерла, мы с друзьями поехали в Переделкино прощаться.

Ее вынесли на маленькую веранду, там были цветы и люди.

Я вышла встретить погребальный автобус. Он пятился, приближаясь к дому, медленно и тяжело одолевая дачную дорожку.

Задние двери раскрылись, готовясь принять гроб. И оттуда, из гробового входа вышел вдруг Параджанов.

С того света, из катафалка, из лагерной могилы появился он – как Орфей. Из вечности, пахнущей хвойным тленом, бензином и смертью, равнодушной как природа, сверкнуло его мавританское лицо в бороде колдуна, в сединах пророка.

Он спрыгнул на землю легко, как мохнатая кошка, и легче кошки взбежал на веранду, где лежала прекрасная Лиля.

Она высохла, став мумией царицы и собственной тенью. Но лицо ее было нежным и очень красивым, ее одежда была дивна и проста. На груди лежала косичка, перекинутая через плечо, и тугие розы со слезами росы на траурных листьях. Сколько было цветов вокруг – а таких не было. Таких не бывает. Они растут лишь в Соловьином саду, куда вхожи только рыцари, поэты да багдадские воры.

По углам тихо плакали красавицы с камеей у щитовидки, белоснежные маркизы, сверстницы Лили. Она была им приятельницей и соперницей в том дальнем прошлом, отлетающем назад со скоростью света, где царила она, рыжая, как осень, воспетая трубным могучим гласом трубадура, за что в истории ей отводилось почетное, хоть и скандальное место.

Тихо стояли родственники, тише всех горевал муж. А он, Параджанов, тут был главным церемониймейстером, факельщиком, плакальщицей и Хароном.

Рукою великого маэстро он правил траурный бал. Это он навел чудесный грим на каменеющие крупные ее веки. Это он обрядил ее в гуцульскую рубаху со скорбной вышивкой у горловины. Он принес соловьиные розы и привел катафалк.

Все это он перечислял у ее гроба, отчитываясь перед нею в деяниях, которыми почтены была ее женственность и ее красота, властно и капризно требующие служения. Он обеспечил служение, реестр дел был полон и совершенен.

Последние часы ее долгого пребывания на земле он обставил так, чтобы душа, витавшая над художественно оформленной мумией, могла оценить каждый жест маэстро и каждый штрих в этой картине.

Он говорил, речь его была достойна и богата, но и благородно сдержанна. Так мог бы говорить тамада за столом, покрытым черной скатертью, с белыми свечами. Он говорил о том, как она отняла его у смерти, вульгарной каторжанки. О том, как вызволила его из песчаных карьеров.

Он и потом, в Тбилиси, говорил, что спасли его Лиля и католикос. И к тому же прибавлял имя Беллы. Но рядом с Лилей ее не вспоминал, чтоб не тревожить ревнивую тень именем другой прекрасной женщины. Ибо Лиля бывает только одна, она это знала. Она знает это и сейчас.

Говорили и даже писали, что, вернувшись с каторги, он к ней не пришел. Нужно ли вспоминать об этом?

Его портрет, как портрет кисти Рембрандта, писан глубокой тьмой, равно как и пронзительным свечением.

Рембрандту бы писать не старух, зажившихся на свете дольше века, а гениальных художников.

Параджанова окружали не только красивые вещи, но и красивые женщины. В Тбилиси красавица Ирина мыла шаткие полы его старого дома, истоптанные табунами гостей.

– Ты посмотри, какой пол, – укорял он.

– Диссертация, – объясняла она свое долгое отвлечение от главного дела.

Диссертация Ирины его не интересовала.

У него в доме водились старинные куклы-дамы, тоже красавицы. Он наряжал их в лионский бархат, в ажурные шляпы, в тропические перья и севильские мантильи.

Они сидели всюду, бледные, зоркие, фарфоровые идолы. Принимали жертвы от хозяина, с неистовым азартом

отправлявшего культ, радевшего как жрец у алтаря: черепаховые пудреницы величиной с орех и хрустальный башмак.

Говорят, в ридикюле одной куклы хранилось любовное письмо, писанное рукою Параджанова.

Иногда он их дарил.

Мой дом – Сурамская крепость

А он был похож на крепость, этот самый параджановский дом на вершине узкой улицы Мецхи. Так по-горному круто взмывала она вверх, будто наверху ее поджидали орлы и снега.

Дом был похож на деревянную декорацию старой крепости, он уже разрушался, по-стариковски скрипел и ворчал, и лестница, горной тропой взбиравшаяся на второй – к Параджанову – этаж, могла обвалиться в пропасть.

Но дом был полон достоинства и какого-то расслабленного радушия, принимая гостей, друзей, врагов наконец, да и вообще кого попало. Крепость, конечно, но ведь тбилисская крепость.

Только в Тбилиси были такие дома, такие гости, такие соседи. Много было соседей внизу, но двор был похож на павильон, выстроенный специально для съемок: «Параджанов в тбилисском доме своего отца».

Фильма такого не было, зато в доме постоянно творился театр, возникали и исчезали маленькие театрики, ежедневно или ежеминутно. Покорные его воле, играли там люди и вещи и собирались зрители, а иногда в них не было нужды. Он был, как говаривали в прежние времена, Директором Театра Жизни.

Три тбилисских свидания с Параджановым в разные годы я хочу хранить в памяти как одно. В едином пространстве встречи, среди множества эпизодов, я выбираю здесь три спектакля, три маленьких театра.

Театр одного актера.

Театр одного букета.

Театр даров.

Место действия – дом Параджанова, его дом – его крепость. Крепостной театр, если угодно.

Ремарка: это не было встречей со мной. Параджанов встречался с Юлием Даниэлем, которого очень любил. А я была рядом.

Мы оказались в Тбилиси как раз тогда, когда он вернулся в свой дом. Вечерами у него, естественно, собирались гости. Он угощал новеллами о своих злоключениях, слухи о них мгновенно облетали город. Две дамы из Москвы от его рассказов осунулись, стали бледны. Настоящий ад этот лагерь, ужас, что там

творилось, были эпизоды – они и шепотом не решались повторить. Несчастный Параджанов. А сейчас? Сидит без работы. Жить не на что.

Узнав, что Юлий в Тбилиси, он тотчас послал за нами.

Мы пошли. И попали на грандиозный спектакль, данный в честь нового гостя.

– Вы опять здесь? – встретил он двух московских дам. Дамы не ушли. Он был раздосадован. Публика прежних представлений ему сегодня не подходила:

– Юлий, я их там научил резать камеи. Друзья присылали камни. Сердолик, агат, аметист. В лагере были такие таланты! Вы ведь знаете, какие там люди. Был один Вася. Не Вася, а Бенвенуто Челлини. Сейчас покажу его фотографию. Вася Золотые руки, была же утром фотография, кто взял?

О Вася! Отца зарезал, мать… Вот он, смотрите!

А, нет, это не Вася, это Пазолини.

Этика зэка множилась на вельможный гонор.

Юлий сидел в политлагерях. Рассказывать при нем про уголовные кошмары не допускала гордость.

Спектакль был каскадный, знай наших. С клоунадой, с штуками, свойственными всем плутам ярмарочных подмостков.

– Но вы же придете еще? А я непременно найду Васю. Вам обязательно нужно его видеть, верьте слову. Рустам, иди сюда. Рустам тоже большой талант.

Гости прибывали, вытаскивая из сумок еду. Параджанов приказал подать бесценные тарелки семейного сервиза, продолжая говорить, перебирать альбомы, рассыпать и собирать портреты, рисунки, итальянские письма, французские газеты, ругаясь и причитая по поводу пропавшего изображения незабвенного Васи Челлини.

Между делом он украдкой подсунул мне рисунок, выполненный им в лагере с большим мастерством. Я рассматривала утонченные линии – как он рисует! Он наблюдал за мной кротко и невинно. О том, что именно там нарисовано, я догадалась через несколько лет. Он продолжал ругать тбилисскую киностудию: «До того дошли, что предложили играть Карла Маркса. Борода похожая. Я бы им сыграл!»

Борода была как у венецианского дожа.

Впрочем, не помню, как выглядели дожи, но он бесспорно был немножко венецианцем, купцом, мавром, кудлатым львом на площади Святого Марка. Или вышел из фильма Феллини. Или был в толпе карнавала, в парче, в мехах, в маске Сергея Параджанова.

Оказавшись однажды осенью в Тбилиси, мы, прежде чем идти

в параджановский дом, отправились на базар отобрать для него цветы. Нам везло. Были сиреневые мелкие розы и фиолетовые хризантемы, светло-лиловые колокола и тусклое серебро сухих трав. Я перевязала наш изысканный сноп брабантскими кружевами, прихваченными из дома, из бабушкиной шкатулки – в подарок параджановским куклам.

Спектакль разразился при вручении. Как он схватился за сердце, как закатил глаза. Словно цветов сроду не видел. Он то приближал букет к себе, то бросал на стол и отбегал в испуге, разглядывая его из угла. Совал его в драгоценные пыльные вазы, в банки из-под соленых помидоров или выкладывал на пол, подстелив персидскую шаль.

Вообще он жил внутри натюрморта, постоянно что-то сочетая, двигая, переставляя, образуя причудливые композиции, кратковременные шедевры. Таинственная жизнь предметов, плодов и кукол, открытая только ему и никому больше, составляла воздух его фильмов. Но даже его отношение ко всему этому носило ночной, гофмановский характер. Вещи он возносил, отлучал, ссылал в кладовку и возвращал из забвения – в спектакль-натюрморт, в спектакль-коллаж.

У него были вещи-аристократы и подлинные плебеи. На галерее обитала крикливая массовка базарных красот, увенчанная детской вертушкой. Покорная ветрам, она крутилась, посылая в сумрачную комнату блестки дешевой фольги.

На другой день он подарил букет соседке.

Она такового не получала никогда, и потом он уже немножко завял.

Но кружева оставил парижской кукле, современнице Жорж Санд.

– Это кукла для Беллы.

У него была мания делать подарки, он становился просто одержимым на почве даров, отбиваться от них было дьявольски трудно.

Мы уже прощались – на этот раз навсегда, – а он носился по дому ураганом, что-то срывая со стен, что-то вытаскивая из шкафов, совал банки с вареньем, кузнецовскую чайницу и картину.

– Что хочешь? Как это: ничего?!! Прошу – скажи.

Почему я не сказала, что хочу вертушку с балкона – мечту нашей внучки, именно вертушку она просила привезти?

Еще нас просили привезти свежий инжир, о чем мы сказали, и племянник Гарик был тотчас отправлен на базар, а мы уже не успевали. Предъявляя авиабилеты, едва убедили Сергея отпустить нас, а он махал сверху, из крепости, пантомимой показывая, что

Гарик не подведет.

Они позвонили в Москву на другой вечер. Оказалось, что Гарик принес злосчастный инжир, что Серей выкладывал его в корзинку, декорируя листьями, что Гарик мчался как угорелый по летному полю и молил последнего пассажира найти нас и передать.

Почему я не сказала, что корзину нам передали?

Отчаяние Сергея было безмерным, он поклялся найти мерзавца, сожравшего его подарок.

Конечно, он тут же забыл о мести. Но в каком-то укромном углу его непредсказуемой души обитала справедливость, и он ее стерег, потому что был повелителем в этом мире.

Что-то меняется в нем, когда уходят повелители. И нелепая мысль кружит надо мной, как осенняя муха: беды пришли в благословенный Тбилиси, когда его не стало.

«Осталось дописать синих кошек»

Господи, прости! Что это был за день! Ни с того ни с сего оказался полон недоразумений, нелепых и дурацких, и злых, в конце концов!

Не получалось все. Обрушились дневные планы. А нужно было еще куда-то идти, что-то смотреть, начиная с полудня. И ничего не вышло. Будто не было ни воли, ни намерений, словно я – щепка, угодившая во власть круговорота, который точно знал, куда и зачем эту щепку нести.

Иначе с какой стати вдруг обнаруживаю себя в галерее Нащокина, где не была тысячу лет, куда вовсе не собиралась, а тем более в такой поздний час, когда ни один вменяемый человек в галереи не ходит. И вдруг оказываюсь около трех картин Г. ХАЧАТУРЯН и говорю кому-то глупость – что куда больше, мол, любила ее прежние работы, хотя вот эта, впрочем, справа, пожалуй…

Как выяснилось позже, в тот день и час, а точнее, в те минуты она была в предсмертной агонии. Разрешаю считать меня сумасшедшей, но знаю: она меня вызывала весь тот невозможный день, ломая ничтожные планы, – прощаться. И вот вызвала. Дорисовала своих синих кошек…

Гаянэ! Нельзя сказать, что мы были подругами, для такого житейского дела она была слишком сложного устройства.

И все же мы были близки – да не прозвучит это слишком самоуверенно, ибо было нечто, нас роднившее. А сближал нас, как ни дико это прозвучит, – БАЛАГАН, а точнее, связанная с ним древняя культура, я ее изучала, она в ней жила.

Ранние работы Гаянэ я увидела давно и, должно быть, случайно (хотя не было ничего случайного в том, что творилось, клубилось вокруг нее). Маленькие картины в два цвета. Алые фигурки женщин на фоне густом и синем, – и не женщины то были, и не небеса, а некое иное мироздание, где обитали древние идолы, – одним словом, объяснить ничего не могу, но маленькие полотна в два цвета ушибли, облучили древней дремучей красотой и отчаянной трагической мощью.

– Да кто это? Откуда?

– Ой, да так… Одна старуха… В Грузии где-то. Да нет, вам не доехать, это высоко в горах… Да и далеко! Какой адрес? Да нет у нее никакого адреса!

Почему нужно было морочить мне голову – тоже вопрос. Но картины буквально взяли за горло – так что ж, что в горах!

Словом, случился день, когда отправляюсь в Грузию, для

начала – в Тбилиси, а там – в Дом народного творчества, чтобы узнать, где высоко в горах живет некая Гаянэ Хачатурян.

– Есть такая. Но не в горах, а здесь где-то в городе. Да у нас на нее карточка есть с адресом. Только она странная какая-то. На выставку две ее картины взяли, народ пришел, над ее картинами смеяться стали – так она картины прямо со стены сорвала и бежать! Странная, в общем. Адрес дадим, только вы одна-то не ходите. А то мало ли что… Вот Гиви проводит. Давай, Гиви, проводи гостью из Москвы.

Шел дождь. Шли долго. Одной, думаю, было б не дойти. Кто-то открыл двери, а она медленно обернулась от мольберта. Очень бледная, но сквозь белую нездоровую маску отчетливо проступал подлинный лик – от Гогена. Она и голову, большую, в туче сильных тусклых волос, вбирала в плечи, как те смуглые полинезийские женщины.

– О, мне казалось – вы старая…

Боже, что говорю и зачем!

Она подошла, прикоснулась к мокрой от дождя щеке:

– У вас лицо родное.

И, обернувшись к Гиви из Дома народного творчества: «А вы уходите».

Свежая картина ее была чудесна. Краски, омытые чистыми ливнями, а может, простите за пошлость, слезами – но ведь, ей-богу, никто никогда не умел доводить краплак до такой раскаленности. А синева, укутавшая землю, была астральной. А фиолетовый так густ, как будто истек соками переспелых слив…

– Гаянэ, кто эти люди?

– Актеры. Они живут среди нас. Только мы их не видим. Они живут всегда – вот они перед ночью собираются отдохнуть. И у них есть белая обезьяна. А рядом женщины – это жонглерши…

Что-то я знала об этом… Конечно же знала! Ведь для чего-то занималась Мейерхольдом, который сказал: «Балаган вечен. Его герои не умирают».

И – вот они, вот где довелось встретиться. С теми, которые не умирают.

– Гаянэ, есть другое слово, не жонглерши, но жонглерессы.

Звук этого слова потряс ее. Как оказалось, она его повторяла завороженно целый год.

…Время остановилось, как ему и положено, когда тебя суют закружившейся головой в иное измерение, не важно, какое по счету, четвертое или десятое, – а в голове почему-то мандельштамовское: «в комнате, белой, как прялка, стоит тишина». И бедность.

Уезжая, я принесла ей большие груши, все-таки витамины, но

она и в них отыскала мистический смысл:

«Дорогая Ирина! Писать буду без фамилии, можно? Чем дальше, ваши груши преображались, с каждым днем меняясь в цвете. В тот день утром пришлось расстаться с ними, так они разложились, вечером от Вас письмо». (Прошу отметить – связь между умершими плодами и письмом была для нее очевидна.)

«Прошлым летом, пролежав месяц, прочла „Братья Земганно“, очень взбудоражило, образы долгое время жили во мне… Про „Братьев Земганно“ никому не рассказывала, и вдруг Вы, боже! Как это все! От вас веет очень родным… Как только предстает ваше лицо, смотрящее на мои работы, не в силах сдержать слезы».

А случилось, похоже, вот что. После выставки в Доме народного творчества, как, впрочем, и до того, никто ее не оценил. Правда, с уверенностью сказать нельзя: ей от природы было свойственно чувство одиночества, причем какого-то тотального и кошмарного. Но признание приходило мучительно долго, мировая слава, задержавшись в пути, засылала к ней своих эмиссаров. Может, кто и понимал, с кем и с чем имеют дело, только это было потом, совсем потом, а сейчас мы встретились. Шел, должно быть, 1969 год.

Смотрю и теряюсь: откуда к ней, в ее тихую обитель могло забрести то, что Блок называл «мой полинялый балаган»?

Из письма:

«Меня все время куда-то несет. Здесь есть несколько теплых, хороших людей, но нигде не нахожу успокоения, только в живописи, только в ней… Насколько было бы легче, если <б> мы жили в одном городе… <говорили> о лужайках, покрытых красными маками, летящих над ними бабочками, в прозрачных крылышках которых танцуют жонглерессы, <о> черном озере с хрустальными лодочками, о летящих черных гранатах в интенсивно синем небе, над трубами домов…»

Она просила узнать все о зокхах. Говорила – это очень древний народ. Армянские евреи. Где-то когда-то встретились два древних потока, евреев и армян. Говорила: у зокхов свой язык. На том древнем языке знала одну песню – от бабушки.

И был Агулис, говорила она – это страна. (На самом деле был когда-то такой город на юге Армении.) О стране Агулис знаю с ее слов. Истины, принятые из ее ладоней, проверке не подлежат, и проверять их наведением исторических справок, конечно, не стану.

В стране Агулис, рассказывала Гаянэ, жили самые богатые купцы, как из «Тысяча и одной ночи», и бабушка ее была из них. У бабушки был самый большой бриллиант – над бровями, на бархатной шапочке.

В стране Агулис были первые кровавые погромы. Убийства и грабежи. Но до того случилась история с дочкой этой бабушки, девушкой нежной и оберегаемой с особым родительским рвением. Ее выманил разбойным свистом в ночной сад дерзкий бедняк. Южный сад ночью – райский приют для отчаянной любви. Тьма стояла кромешная и жаркая, а в траве шипели, шуршали, тоже любили друг друга потревоженные змеи… На то и рай, чтобы змеи шептали про запретный плод.

О том, как любовники покинули Агулис, не знаю. Было ли то бегство или родительское изгнание, но только Гаянэ родилась в Тбилиси. Кажется, отец сапожничал. От Гаянэ требовал соответствия положению дочери ремесленника. Барские замашки были ему враждебны, к ним относились и краски. А также вздорное желание учиться.

Что толку описывать ее картины, если она сама их описала в письмах… Да! Кстати! Да, именно кстати – о ее письмах. Она была почти безукоризненно грамотна, и если случались мелкие грамматические обмолвки, то лишь оттого, что косые строчки мчались с неистовой силой и спешили отчаянно и острые крупные буквы с разбега налетали друг на друга. Она как будто страдала от статики письма, да и от статики картины тоже.

Не в том ли дело, что частое и длительное пребывание на ложе болезни рождало бурную тоску по движению? В письмах эта тоска ощутима – она видит свою картину как панораму, где все подвижно, но как? Это завороженное движение, как случается во сне: «В природе больше всего люблю бег белой лошади, спящую кошку, танцовщицу».

Думаю, два источника питали ее творчество с неубывающей силой. Это старинные фотографии предков (все тот же Агулис) и детские видения в саду, куда мама уводила ее от нерадостной будничной ежедневности. Там был летний театр, там были актрисы. Гуттаперчевый лев и, должно быть, фокусники. Все это увидено глазами ребенка, детское зрение она в себе оберегала.

Про эти образы писала в письмах. Театрик, рисуемый ею, подвижен и полон тайной жизни. Вот прототип миров, построенных в картинах Гаянэ: «Сад, карусель, гуттаперчевый лев с горящими лампочками в глазах. Паром, тихо плывущий по Куре. Мы с мамой на пароме, мне три года, и мы плывем».

Мне кажется, ее тяготила статика изображений, думаю, ей свойственны черты синэстезии – того состояния, когда едины цвет, форма, звук… Синтез всех сигналов, посылаемых художнику из внешнего мира, возможен только в театре, и балаган Гаянэ – он ведь по сути театр. Только вечный. К тому же она и пела сама, и звук, исходящий из ее горла, был мощен и как-то первозданно

дик. Она пела на языке зокхов одну-единственную песню – наследство от бабушки. И вот что странно: решившись петь кому-нибудь, она уходила из комнаты или удалялась за занавеску. Казалось, голос самоценен и живет вне ее, заполняя собою пространство… Голос за сценой! Невидимая, но властная музыка.

«Домик – театр на лужайке, вокруг толстые белые стволы деревьев с маленькими листьями. Девушка, сидящая с маленькой гармошкой у ствола. Появились оркестранты духового оркестра. Под звуки спускается солнце цвета черного тюльпана. Опустившись на землю, солнце под звуки барабана постепенно раскрылось, и люди стали прыгать на землю, кувыркаться, от них летели причудливые птицы и животные, а также черные гвоздики. Всевозможные маски, летя, издавали всевозможные звуки… <Потом> домик-театр стал качаться, черный потолок с расписными фиолетовыми цветами вылетел и упал на лужайку, здесь началось представление. Маленькая Эдит Пиаф стояла на ладони своего отца и пела…»

Так что ж, она у меня получается вроде передвижника, все с натуры? Ну, не знаю, как объяснить устройство ее вещего зрачка, направленного на реальный мир и дающего неизмененно иную картину ее сознанию?

Попытаюсь хоть отчасти понять, что она видела перед собой.

Это случилось много позже, когда она оказалась в Москве и пришла в наш дом. У нас была довольно большая комната со светло-зелеными обоями и собака Алик породы спаниель. Из Тбилиси она написала о незабываемом впечатлении от всех наших друзей и детей, про каждого, разумеется, восторженно, но вот что главное. Она написала про большую золотую комнату и огромную черную собаку. Если вам известен истинный размер спаниелей, вы сможете постичь хотя б немного, как устроено ее зрение.

В ней жила ее собственная страна. Такое бывает. Настойчивость, с которой она информировала человечество о своей стране, – с такой страстью можно стучаться к человечеству, не ведающему о том, что страна Шамбала (или Атлантида?) не за тридевять земель, а вот здесь, рядом, только спрятана в живописце, – такая настойчивость, конечно, присуща племени художников «инситы» – художников наивных, их еще называют примитивистами, что неверно и плоско. Я называю их «люди третьего глаза», и она к ним примыкает по группе крови (даже если меня проклянут гематологи, утверждаю – это пятая группа!). Но вот что уникально – и что единственно в ней – как она сохранила дремучую первобытность при уроках Высокой Живописи, полученных ею в ранней юности из мудрых рук

Мастера.

…Ее увидела дочь Бажбеука Меликяна и привела в дом, чтобы сделать ее портрет в стиле Гогена. Тут полинезийскую модель встретил старый художник. Что было дальше – нас не касается, но, едва увидев Гаянэ, он воскликнул: «Ты кого привела в дом! Ты судьбу мою привела!»

И вот что интересно: он тоже имел в крови «ген балагана», как Тышлер и Пикассо, – недаром в его сюжетах был значим Цирк. Так она соприкоснулась с высокой живописью, а за плечами маэстро была строгая школа и знание импрессионистов, заново отмывших живопись до солнечного свечения красок.

Она говорила: русское искусство великое, но живописи под российским небом нет. Живопись для нее могла быть только под небом Ренуара, а главное – под небесами Тбилиси. Как ее уговаривали переехать в Армению – не могла. Небо другое. Под другим небом она начинала увядать. В Тбилиси могла жить ее живопись. Она писала: «Живопись – основа всего. Почти многие ее совсем не понимают. Это так страшно…»

…Она рассказывала – однажды к ней пришли, дай, говорят, картину, нужно в подарок Брежневу. Она ответила – это невозможно. Он живопись понимать не может.

Параджанов говорил ей: «Гаянэ, ты знаешь, что с тобой будет? После смерти тебя Армения возведет в святые».

Придется сказать вот что. Со временем она стала удаляться от своих видений, зрение ее стало меняться, хотя мастерство окрепло. Параджанов говорил осторожно: «Мы в Париже у Басмаджана встретились с твоим галеристом, поругались, он бранил твои поздние работы. Но я немножко согласен, в первых работах был мистицизм».

Может быть, и прав был Параджанов, она была святой, поскольку вокруг, ее оттеняя, кружили призраки людей дурных и алчных. Чутье шакалов побуждало их кружить около Гаянэ задолго до того, как ее картины оказались в лучших галереях мира, а Париж был удостоен ее персональной выставки и коллекционеры оценили ее картины как подлинные драгоценности.

* * *

В Москве была дважды, и плохо ей было очень. В первый приезд предстояла встреча с Юлием. Ее привели, но она не желала войти в комнату, где он ее ожидал, волнуясь, курил беспрерывно – так боялся не понравиться. А она желала

пребывать на кухне, плакала – вдруг он ей не понравится. И зря оба так дрожали – полюбили друг друга с первого взгляда.

Так, что в последнее лето своей жизни он, теряя силы и не слушая горестных восклицаний врачей, захотел проститься с нею и в последний раз увидеть ее картины. Жутко вспомнить, как мы рисковали, отправляясь в Тбилиси, в наш последний путь.

Всегда буду повторять, что́ она сказала о нем при первой встрече:

– Я всегда смотрю, как человек стоит пред картиной, пред кошкой и перед курдом.

Нельзя сказать, что Юлию часто приходилось стоять перед курдом. Что касается картины и кошки – надеюсь, с этим у нас троих было все в порядке.

Из раннего ее письма:

«Работаю над большим холстом. Там сидят три женщины с большими шляпами в форме груш. На переднем плане стоит рысь. Осталось дописать синих кошек».

IV. Но по пути мне вышло с фраерами
Б. Окуджава

Покровский – человек дождя

О том, что́ Дмитрий Покровский дал современной музыкальной культуре, скажут другие.

Я о том, чем он одарил нас, не музыкантов. Просто современников.

В московскую жизнь семидесятых он вломился вместе со своим ансамблем и тотчас произвел переполох. Во всяком случае впечатление сильное: стоит на сцене вожак стаи, лицо белое, глаза черные, усы длинные, похож на большую куклу козака, а волос дикий, цыганский. Стоит неподвижно – и вдруг выбросит первый повелительный выкрик, и ансамбль включается сразу как заведенный. Этот непривычный оркестр голосов, покровское многоголосье.

Всю зиму 1973 года (кажется, так) мы его концертов не пропускали. Летом Покровские уехали в деревню, в экспедицию.

Да мы тоже ездили в русские деревни! Покосившиеся избы, бочка прокисшей капусты, покрытая черной иконой, старухи такие дряхлые, что побледневших глаз не видно в складках лица. Приняв самогону, они многими голосама пели нестройно и непонятно, и нам очевидно было, что советская власть отучила не только жить, но и петь.

Нужно было появиться Покровскому, чтоб дать понять – да не разучились они петь! Просто поют не как Зыкина! Что пение это именно таково от допотопных времен и – теплится, передается из рук в руки, из глотки в глотку, а когда бабки-хранительницы наладятся помирать, фольклор сам выращивает нужную ему новую старуху. При этом контакт у этого пения с человеком таков, что и представить невозможно. Покровский, например, утверждал, что исполнение календарных песен стимулирует обмен веществ. Что фольклор – это система включения внутренних ресурсов человека. А как иначе объяснить, что он, оперированный на сердце, смолоду приговоренный к щадящему режиму, – мог петь во всю силу и беспощадно, плясать, заводить ансамбль и зал так, что после концерта весь зритель в зале Чайковского шел в пляс в фойе и до самого метро «Маяковская», впереди Дмитрий, бледный как смерть, получивший вторую жизнь; глаза мрачны и насмешка в них…

Что он увидел в фольклоре? Штудии Покровского в направлении народной культуры совпали с тем временем, когда мы особенно усердно искали ответа на вопрос «в чем вся суть». Ответ мог знать Покровский. Но за ответственное лицо, обладающее подобным знанием, себя не выдавал.

Для него фольклор был явлением, которое можно изучать с помощью физики, например. А может быть, и астрономии, во всяком случае науки он ценил, особенно точные. Описывал фольклор как сложную систему или как умный механизм с абсолютной памятью и вечным двигателем.

Иногда фольклор в его рассказах представал зверем, бессмертным, правда, а так – живым. И разумным. Космат тот зверь, а на шкуре глаза, глаза… Внимательные. Покровский его изучал, подошел близко, а зверь не ручной. В пространстве вокруг «зверя» можно впасть в мистику, можно сойти с ума. Но можно его и приручить. Так говорил Покровский.

Сам же он с ума сходить не собирался и к мистике был равнодушен. Все было иначе на самом деле, он это знал. Знал, как нужно спеть самую древнюю песню репертуара «Под Киевом, под Черниговом» – и дождь пойдет. Так и было.

На концертах «покровские» при пении шли плясом, сильно и кратко притоптывая и прислушиваясь – будто слышали рык Земли, разбуженной топотом забытых предков, а они именно так обращались к ее дикой первородной силе. В Нью-Йорке в первое появление покровских какой-то критик расстроился: разве это танцы? Разве можно сравнить с Моисеевым? Возражать глупо, но только в Нью-Йорк та рецензия им надолго путь перекрыла. Впрочем, это было потом.

Да! О само́м пении покровских: слушать люблю, но слов не понимаю, хоть убей, так что однажды, когда они у кого-то в гостях из чистого хулиганства в застолье распели «Я помню чудное мгновенье» – не узнала. Это пение игнорирует разбивку по слогам, по-своему разбирая слово на части, между частями набиваются всхлипывания какие-то, причитания, междометия. И я не понимаю. А болгары поняли! Покровский тому и не собирался удивляться.

– Да дело в том, что это все идет от праславянских эпох.

А звук? От живота, от диафрагмы, по крайней мере, впечатление именно такое. Спрашиваю всех: как такое пение называется? Оказалось – названия нет, «без лица и названья», как говорится, будто имя стерлось от слишком долгого употребления.

В Москву приезжали как-то индейцы, не могу сказать какого племени, и пели тоже «животом» и жалостливо, но сильно. Крупноскулые, в жестких косах, головы большие, рост малый – и поют как покровские. Дмитрий Покровский сказал: звук этот – свернутая форма ритуала. В это поверила навсегда. И попыталась проверить на ином материале, постигая народный костюм.

И тут – пусть простит читатель – отвлекусь, поскольку в

музыковедческих терминах не могу объяснить, в чем дело. Однажды мне выпало краткое счастливое мучение работать художником по указаниям Покровского над композицией Виктора Новацкого «Коляда». Счастье, конечно, оказаться в поле высокого напряжения требований, абсолютно неосуществимых. Что ж, сама напросилась, но попробовали бы вы не исполнять его волю!

Во-первых, нужно было придумать, как выглядела кукла Макошь, когда разгневанный Перун выдрал ей волосы, застукав с Велесом, и чтоб из деревянной башки цветы вырастали у всех на глаза.

Но это еще что, нужно было: ИЗОБРЕСТИ ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ без швов, без фибул, без пуговиц (да какие, собственно говоря, у богов пуговицы?)…

Получилось или нет – сегодня неважно, тем более что «Коляда», хоть и была однажды сыграна, сварилась в кипятке подвала (где ж еще держать реквизит), когда лопнули трубы отопления, покончив с этим допотопным языческим начинанием. Тем более что ансамбль уже готовился играть Рождественский вертеп, и это будет новая страница в жизни покровских, а заодно и в нашей культуре.

…Но эти несусветные требования к костюму! Как их забыть и из чего, Дмитрий Викторович, прикажете их шить. Из тумана болотного? Из шкурки безалаберной лягушки, швыряющей одежку где попало? Из самого небытия, отмеряя длину метром храброго портняжки?

И долго еще бушевал во мне беззвучный диалог с мастером, и угомонился лишь тогда, когда сам собой написался текст про костюм.

Казалось бы, чего проще – рубаха – юбка – сарафан, чего бы им не служить человечеству верой и правдой. Так нет же, эту простецкую реальность обязательно нужно исказить, начертав на месте женщины нечто совсем иное.

Даже такое искусство, как костюм, призванное служить человеку (как мы упорно и упрямо полагаем), совершало немыслимые кульбиты, когда дело доходило до общения с высшими силами. Оно готово было на все, лишь бы эту самую реальность исказить, начертав на месте человека нечто совершенно иное. Этот казус вряд ли можно объяснить. Перед ним можно лишь остановиться в изумлении и в размышлении. Что за нужда нас погнала убегать от себя и прятаться в другие оболочки?

Кто бы сомневался в канонах красоты? Костюм же сомневается, и корректирует, и, конечно, портит наши природные формы.

Однако эстетика французского салона, равно как и глухого негритянского селения, ведет упорный труд, камуфлируя нас, и пряча, и варьируя новые модели!

Великая костюмерная самой истории неистощима в приверженности к причудливым метаморфозам. Вдруг раздуваются плечи, покачиваясь алыми китайскими фонарями, вдруг разрастаются бедра безбрежно и необъятно. Вдруг появляются сзади турнюры, а это уж вообще черт знает что, хоть и красиво, конечно, но только сейчас не в этом дело. Дело в граненом каблучке, вдруг бросившем фигуру вверх и вовсе изменившем осанку, в громадной кружевной шляпе, скрывающей лицо не хуже паранджи. И это все недавние, уже почти совсем рациональные времена.

А что такое народные одежды, позвольте вас спросить? Это сокрытие, укутывание, окутывание. Немыслим расход материи в крое мужицкой рубахи времен Робин Гуда – складки, складки, складки. Женщины Московской губернии обматывали ноги – холста шло столько, что ноги получались слоновыми. На Руси в деревнях так кукол делали, обматывая столбик до толщины статной бабы. Что за потребность такая на живого человека мотать ткань, чтоб от стати женской следа не осталось? Огромная получилась кукла, даром что живая – неподвижная, неповоротливая. Неузнаваемая.

Народный костюм, простите, – чистое безумие с точки зрения функциональности, о которой так любят рассуждать трезвые умы, убежденные в рациональности народного помысла. Но ничто не сможет убедить меня в разумной необходимости носить тяжеленный кокошник, плотно шитый мерцающим речным жемчугом. Я не верю в ясность дизайнерского проекта при виде сорока крахмальных юбок венгерской девицы, и зачем таскать на чепчике острую башенку с шишками испанской крестьянке; в практическом смысле это сооружение пригодилось лишь Гауди – он повторил эти женские уборы в шпилях своей неистовой барселонской архитектуры. Впрочем, не мечтал ли убор, в свою очередь, уподобиться храму?

Народный костюм – вечная память всему, что было, память и есть покров, тщательно скрывающий в тысяче оболочек бренное тело. В народный костюм смотрится вечность, не замечая смертного человека.

Зато костюм заметил в человеке вещую птицу – в формах чепца под названием «сорока»; а парчовая шапочка помнит о шлеме кровожадной амазонки. Там память о церковной маковке и о нечистой силе, которая, как известно, боится сияний, сверканий, красного цвета, потому нужно вышивать, расшивать

все подряд, что на себя наденешь, особенно в праздник, – нечисть и заплачет.

В народном костюме время течет медленно, «долго ли, коротко ли» – вот его измерение, событие припечатывается вышивкой, бусиной, а что костюм считает событием – это его тайна. Может быть, образ многоглавого древнего бога, а может быть, и подол городской франтихи, но всё под шифром, всё иносказанием.

От такого объема памяти там все уплотнено, спрессовано и густо. Недоговоренности, пустоты, многоточия невозможны. Каждый фрагмент есть замысловатая узорчатая цитата, по ней можно судить о полном тексте, где все в рифму, в загадку – о чем же? Да уж во всяком случае не о человеке. А если и о нем, то в последнюю очередь.

Синявский, помянув гиперболы ювелирного цеха в сказке, заметил, как все способствует тесноте изобразительного ряда в искусстве. «Чтобы в каждой пуговке райские птицы пели и коты заморские мяукали» (если пуговки такие, то какой же полнотой, вообразите, сиял весь кафтан!).

Фольклор сообщает не о крестьянстве, а о царях. Но тот же фольклор авторитетно заверяет, что деревенские женихи и невесты – августейшие особы, никак не меньше, и в приданое им серебряных птиц, золотых котов, резной сундук со добром, луну и солнце в придачу.

В образ народного костюма входит пространство мифа, где идет вечное пра-вращение: вокруг человека, скрывая его и пряча, вращаются видения, привидения, а порой и предвидения.

Морока воспоминаний перехлестывает стихию народного костюма, проблески припоминания бродят рядом с нами. Сумрачное одеяние наших родных рокеров, не ведая о том, вторит ряженым дьяволам, скалящим пасть в площадных представлениях средневековья. Вдруг на рынке стали продавать вязаные кустарные шапочки такого вида, будто они прямые потомки старинных фламандских чепцов, добродетельных и степенных. А то в одежде нашей проснется сожаление по угасшим племенам, печать этнографического окраса, какая-то научная, ей-богу. Когда индейцы, изученные Леви-Строссом, приготовились покинуть сцену крупных исторических событий, на нашу улицу вышли бисерные повязки, браслет с замшевой челкой и прочий индейский реквизит, что болтается на длинноногих мальчишках, стукаясь о плеер. Зато распространенные теперь мечтания о личном боярстве почему-то не взывают к маскараду, и наша все еще свежая страсть к отечественной старине прижилась при обобщенной фигуре ковбоя без мустанга, на джинсах «Levi’s».

Но в собственной вселенной моды и костюма, помимо однодневных мотыльков и кратких увлечений, таятся вечные призраки былого столь отдаленного, что мы принимаем его за небылицы. Порой в костюме отчетливы приметы «прозодежды» для проникновения в недра преисподней, равно как ощутима горняя тоска по небесам и тучам.

Есть нечто жуткое в фигурах карнавала, выходящих на свет в свой урочный час: на святки и к Масленице, когда что-то происходит в небесах и под землею. Вывернут мехом наружу драный зипун козлоногого Пана, бредущего молдавским селом: ухмыляясь деревянной губой, он стучит в барабан черной лапой. Во славу и в посрамление великого Феллини высылает Венеция атласных призраков в баутах, с их величием дожей, с их повадками мертвецов. Бродит безмолвное ряженье по Руси, лик завесив тряпкой.

Сам дух карнавала следит, чтоб глотала человека раскрашенная карнавальная тварь и держала в себе, как Иону, пока длится унылое беснование. Все дозволено – запрещается лишь соблюдать табу. Человек теперь – облако, смерч и косматая зверюга. Гикая непотребно, хохоча и рыдая, толпа масок толкает в воду огромное чучело или жжет его. Вода и огонь правят бал, карнавальные хламиды струятся или пляшут огненными языками. Со страшной силой бушует страсть к преодолению, будто нужно не только скрыть, но и разрушить нас, грешных, сотворенных из праха и глины.

Глиняный Адам и легкомысленная Ева, горько постигшие необходимость одежд, хотя бы и фиговых, были первыми людьми, но и последней опытной моделью. Ранее, когда материя была иной по своему составу, в мире царили существа эфирные, пламенели существа огненные. Дико подумать, что причуды костюма приходят, встревоженные столь удаленными видениями, но ведь и опровергнуть это тоже невозможно.

* * *

То же и с музыкой, выловленной Покровским: я бы дорого дала, чтобы узнать, с какими мирами он налаживал связь. Когда однажды покровские запели у нас дома, собака задрожала ушами и хвостом и тонко вторила хору не своим голосом, рыдая и маясь, а у семилетней Машки голова стала неистово раскалываться до обмирания (другой раз обморочная мигрень схватила ее на выставке Шагала).

Про энергетику, бьющую не хуже электрического тока в

оголенном проводе, мы тогда еще не умели говорить запросто, как нынче. Но только и дураку было ясно, что пес и ребенок пока не обзавелись защитой от разрядов диких первобытных сил. Авангард Шагала и фольклор Покровского выпускали разряды в мир, не облекая их в цивильные защитные формы. У меня же от этого пения внутри затылка выстраивался какой-то мостик, по нему пробирались мурашки явно сновидческой природы. Кажется, они двигались прямым ходом из подсознания на радость Карлу Юнгу. Но чтоб они появились, расталкивая суетное дневное сознание, нужно все-таки встретить таких, как Покровский. И – людей его ансамбля. Или певцов в деревне Сопелкино из-под Белгорода, хотя бы. Покровский у него многому обучился. Это особые люди:

– Я узнаю их по глазам.

Так он говорил – и узнавал.

Он узнавал прирожденного художника или актера по глазам. Люди эти – обладатели голосов в деревне, гистрионы и скоморохи, бродячие музыканты, битые на Руси, где ломали деревянные музыкальные инструменты. Люди эти и сейчас среди нас. Люди эти, говорил он, странные, в бытии трудные, порой неприятные. Но совершенно необходимые. Еще его интересовало устройство «актерской стаи», он знал законы существования малой группы, какие там необходимы роли. Говорил, что устойчивость труппы дель арте, великих итальянских уличных комедиантов, была обеспечена именно равновесием строго определенных типов, режимом поведения масок:

– Такая труппа должна была выстоять в любой ситуации и против огромной враждебной толпы – тоже.

Мне кажется, он свой ансамбль проверял на прочность, и не случайно ансамбль часто подходил к критической точке, готовый распасться, но всякий раз из опасности развала выбирался, уподобляясь мокрому птенцу по имени Феникс.

Это русское многоголосье было таково, что он каждому в ансамбле давал быть музыкальным инструментом. Кто скрипкой был, кто флейтой – как там, в сказках, девицы становились дудочками? И пели. Но ему была важна природа каждого, он личность вытягивал наружу, как на исповеди. Каждый – инструмент-голос, личность, роль.

И когда он пришел на Таганку, к Любимову, вступил в «Бориса Годунова» (это было в 1982 году), он не только многоголосье внес туда, но и многое другое, что знал. Хотя бы русскую народную драму «Царь Максимилиан». «Царя» уже лет десять играли в ансамбле, в реконструкции Виктора Новацкого. Покровский, конечно же, был Крысоловом, магнетическая сила

его была велика и за ним шли, и шел Новацкий – до самого конца. И актеры Таганки, строптивые и своевольные, тоже за ним пошли. Таганские актеры и ансамбль Покровского стояли на сцене, образуя круг с пустотою внутри. «Круг – вся земля, хор – весь народ», – говорил Алексей Ремизов в «Максимилиане», назвав при этом русскую народную драму портянкой Шекспира. Герои выходили в центр круга и отступали назад, и напряженность действа была предельная. Нужно ли говорить, что спектакль закрыли? Это закрытие, производимое безликим начальством, было особенно гнусно. Может быть, тогда Любимов впервые понял, что отъезд неизбежен. На пороге стояло непонятное новое время.

Покровский уехал в Америку. Перед тем хлопотами Родиона Щедрина ансамбль был в Бостоне на фестивале. Щедрин ансамбль любил, иначе быть и не могло (как они его пародировали в юбилей! вышли во фраках…).

Бостон был сражен. Перед Покровским и его ансамблем открывались фантастические перспективы. Но они снова обнаружились в Москве. Выступали. Уезжали опять. В сущности отрыва от России не случилось. Все оказалось сложнее. Может быть, печальнее, чем хотелось, а может, и нет. Между двух континентов. В Америке Абигейль Адамс и импресарио Джон Эйр налаживали контакты с чужим миром. Ансамбль вступил в некую образовательную программу, стал путешествовать по штатам. Что касается самого Покровского… Он в архаические пласты вторгся как первопроходец, это потом в деревенский российский Клондайк потянулись прочие золотоискатели, но он – первый. Первым же разглядел, расслышал пение казаков, на коня садился, чтоб знать, что с голосом происходит, когда певец на коне. А духовный стих, который освоил ансамбль?

Попробую сказать о главном: чем дальше он забирался в доисторические глубины, тем отчетливее выступал перед ним в перспективе авангард. И когда они нашли друг друга с Полом Винтером – ансамбль Покровского и Винтеров экологический джаз, – это было естественно. Поразительное заключалось в другом. В том, что Покровский понял, как русский авангард 1910-х – 1920-х годов в сущности свое новое, принципиально новое, искусство выстраивал на могучем фундаменте древних истин и древних знаний. Покровский именно так решал в Америке «Свадебку» Стравинского, перед тем проведя строго следствие по делу: почему Стравинский от знания народного зырянского пения отрекся.

В это же время молодые композиторы Антон Батагов и Владимир Мартынов совершили открытие поэзии Хлебникова.

Они писали музыку, вслушиваясь в магические хлебниковские ритмы, – и ансамбль, конечно же, оказался подготовлен к исполнению. Пели они Хлебникова в Москве.

Дмитрий Покровский… Думаю, перед смертью он до конца прошел путь познания авангарда. Он только не успел поставить «Желтый звук» Кандинского, литературное произведение, построенное на языческих ритуалах зырян.

Обе огромные реки, фольклор и авангард, он переплыл. Впереди мог быть только непознанный берег, но каков он – мы уже не узнаем.

Умер он в Москве, внезапно – сердце не выдержало неимоверного напора энергий и… неприкаянности.

Осиротевший ансамбль пел на Таганке в траурные дни похорон, на девятый день и на день сороковой; в Малом зале поместились лишь свои.

В Америке Пол Винтер дал прощальный концерт в память о Дмитрии Покровском. Концерт транслировался. Слушала вся Америка…

Питер Шуман – большой шаман

«Я завидую временам, когда искусство было всесильным», – сказал Питер Шуман, отвечая при первой встрече на мои осторожные расспросы.

К тому времени мы в Москве уже были о нем наслышаны. «Мы» – это те, кто был так или иначе связан с театром кукол. А в конце семидесятых кукольный театр прорвался в авангардисты, пережил крупные эстетические потрясения, претендовал на репертуар не только не рекомендуемый, но для начальства даже подозрительный, поскольку провоцировал всевозможные аллюзии.

Итак, мы о Питере Шумане знали, но всем другим приходилось объяснять, кто он такой. И объяснять подолгу, поскольку если просто сказать «режиссер кукольного театра» – это все равно что про Матфея сказать «сборщик податей».

Мы уже держали в руках его книгу о театре «Хлеб и куклы», окольными путями отправленную с «Дикого Запада» и великим чудом достигшую нас. Еще большим чудом была черно-белая кинолента; вернее, чудом была не только она, но и то, что она к нам попала. Там по большой лужайке бежали люди с длинными флагами, – а флагами были исполинские крылья бумажных птиц, – и становилось совершенно ясно, что происходит нечто важное, счастливое и непритязательное. Но важное – очень!

Короче, было ясно, что Питер Шуман имеет дело с некими высшими целями и задачами, причем цели его – озадачивающе важны, а средства столь же озадачивающе просты. Что он из тех, кто пытается добраться до начала начал, туда, где таится подлинная сущность искусства, сотворенная еще до того, как искусство появилось на свете. И кто до этой «подлинной сущности» когда-либо добирался, те общались с силами, от которых зависела жизнь на земле, – а она всегда висела на волоске. И если волосок этот до сих пор не оборван, значит, посредники, поставленные между небом и родом людей, ели свой хлеб недаром. Именно от них пошло племя ответственных художников. Точнее сказать – художников, добровольно принимающих на себя ответственность за судьбы мира.

В 1993 году вышел первый номер нашего «Кукарта», журнала, предназначенного изучить феномен куклы в человеческой культуре. Для него Шуман во время своих гастролей по Сибири написал текст «Радикализм в театре кукол». Двадцать лет спустя этот текст стал еще более актуальным, потому буду к нему обращаться:

Я написал это эссе по просьбе Ирины Уваровой и Виктора Новацкого во время первых гастролей театра «Хлеб и куклы» в Сибири в перерывах между репетициями в Томске, Новом Васюгане и Абакане, где меня переполняли впечатления совсем другого рода. Конечно, мои наблюдения и выводы сделаны в чисто западной перспективе. Но хотя театр кукол в коммунистических странах и был до сих пор официальным направлением государственной культуры, его беды, прошлое его и будущее по сути дела одни и те же в обоих наших мирах. Когда споры ни к чему не приводят, они во всяком случае могут послужить предупреждением о том, какие побочные продукты неизбежно сулит процесс культурного освобождения.

Спешу уведомить: Питер Шуман – художник-авангардист, нонконформист по своей природе, немец, живет в Америке, которую считает непригодной для того, чтобы там жить. Не покидая страны, умудрился организовать себе эмиграцию: эмигрировал на ферму в штате Вермонт, где он, его жена и его театр живут так, как находят нужным, не считаясь по мере возможности с… – но, собственно говоря, затрудняюсь определить, с чем он не считается. Вряд ли он смотрит сотни телепрограмм, однако читает газеты и даже умеет пользоваться газетным языком. Вряд ли он в курсе дел, которыми живет ближний мир, зато внимательно отслеживает мировое зло: где оно особенно сильно свирепствует в данный момент. Именно в такие горячие точки он выезжал со своим театром, но не с той целью, какая была у наших фронтовых актерских бригад. Цель у него стратегическая: устроив художественную акцию, он надеется мировое зло если не вовсе уничтожить, то, по крайней мере, усмирить.

Кукла его акций, претендующих на самую активную действенность, возведена в величественный ранг библейских ценностей, поставлена рядом с хлебом насущным. Хлеб же в его театре «Хлеб и куклы» тоже реален, он его сам выпекает, – и эта удвоенная действенная акция сродни тем, которые человечество уже после библейских времен назвало спектаклем и лекарством.

Но возвращаюсь к той поре, когда мы еще не были знакомы с Шуманами, с Питером и Элкой. Уже тогда без всяких натяжек он воспринимался как родной. Это удивительно – ведь если смотреть трезво, что́ нас роднит, спрашивается:

нас разделяет половина мира;

мы принадлежим к различным цивилизациям;

к тому же он, Шуман, и по сей день верит в то, что Страна Советов всегда кругом была права – отняла все у богатых и раздала бедным; его послушать – это не государство, а Робин Гуд какой-то; у меня же о собственной отчизне собственное мнение, с Шумановым не совпадающее;

к тому же он гений, а если ты осознаешь это – так о какой дружбе может идти речь?

И все же.

Первое – это куклы. Известно, что куклам присущи нити, чтоб ими управляли. Но лишь посвященные знают про нити невидимые, от кукол исходящие, и некоторых представителей рода людского этими путами куклы к себе привязывают. Одна такая метафизическая нитка припутала к театру кукол нас, в частности и меня, на том основании мне достался пропуск в театр Питера Шумана «Хлеб и куклы». Куклы вообще благосклонно допускают порой кого-нибудь заниматься ими. Вопрос в том, какие куклы у Питера Шумана, – а они по эстетике своей древние (первобытные, или же вечные), однако их художественная сущность содержит в себе нечто большее, чем анахронизм. Может быть, главное как раз в том, что куклы Шумана несут в себе действенный заряд. Они энергетически активны.

Смею допустить – я кое-что понимаю в этих Шумановых куклах. И понимаю, почему для него важно, жива ли по-прежнему идея о том, что искусство способно превзойти самое себя? Интересно ли театру что-то, кроме себя? Сможет ли театр кукол возвыситься над собой, вернуть цель и напор искусству и вновь заставить богов говорить с людьми?

Второе. Шуман – самый настоящий шестидесятник, истинный и типичный. Я «своих» узнаю. Истинные, это которые неугомонны, энергичны и недовольны. Истинный шестидесятник – протестант в том смысле, что он протестует. Главным образом против установленного порядка вещей. Установленный же порядок вещей всегда упирается в политику, на любом полушарии всей нашей земли.

В этом смысле Шуман подобен нашим протестующим, тоже шестидесятникам. Они и внешне похожи. Всклокочены, ершисты и обаятельны, сами того не желая. Мне хочется найти хорошего астролога, может быть, он объяснит, было ли при появлении того поколения (это, как я понимаю, десять лет примерно, с 1925-го по 1935-й) какое-либо особое расположение звезд. Похоже, эти люди появились на всех континентах для того, чтобы в свое время уличать мир в социальных пороках. У нас они выходили к памятникам поэтов для того, чтоб проводить первые неумелые демонстрации против притеснений. Тем временем Шуман

обвинял Америку в равнодушии к простому человеку.

У нас шестидесятники вышли на Красную площадь, протестуя против оккупации советскими войсками Чехословакии. Шуман устроил театрализованную демонстрацию перед Белым домом «Нет войне во Вьетнаме!». Театр двигался по площади, актеры в восточных масках несли гроб, набитый похоронками. У нас демонстрантов посадили, Шумана никто не трогал.

Но я не об этом. Я о родстве душ. Тут незачем писать о ситуации, в которой оказался в Москве мой муж, а попутно и я, когда к нам явился Доброжелатель и предупредил: ему точно известно, что нас решено высылать. В Америку. Место для ссылки отнюдь не худшее, только мы не хотели из окаянной России, тогда еще безнадежно советской. Да ведь своей.

– И что нам там делать, спрашивается?

– Ну, если уж случится, что ж, поедем в Вермонт.

– К Солженицыну, что ли?

– Что ты! К Шуману, конечно. У них вроде коммуны, мы бы попросились к ним делать кукол и маски.

О том, что мне было сказано по поводу коммуны («американского колхоза»), здесь опускаю.

Но то ли Доброжелатель оказался трепачом, то ли где-то в неведомых верхах что-то отменили – но не выслали нас по комфортному этапу в пункт А.

Кто бы тогда знал, что случится время, когда я добровольно отправлюсь в Штаты? И три дня буду жить в самом театре «Хлеб и куклы». Потрогаю кукол и преломлю тот самый хлеб.

Сбылась мечта идиота. Могу объяснить, почему так говорят: лишь круглый идиот может быть так счастлив, когда сбывается и когда все оказалось именно так, а не иначе.

Только Юлия уже не было на свете. Но в деревенском доме Шуманов стоит на сосновой полке его книга «Говорит Москва», – так мы попали сюда. Оба.

До того я с Элкой и Питером успела подружиться – они уже раза три приезжали в Москву. Первый приезд их был странен: мы теснились в ВТО, какое-то руководство принимало Шуманов, они не поняли, что их принимают. Никто не знал, как и о чем их спрашивать. Они тоже не знали, о чем их могут спросить чиновники от театра. Виктор Новацкий подошел к ним и сказал: «Пошли ко мне, это через дорогу». И они пошли. Новацкий сказал нам: «Ладно, вы тоже идите». Мы тоже пошли.

В Гнездниковском переулке, что напротив бывшего ВТО через бывшую улицу Горького, в одной-единственной комнате, созданной для того, чтобы в нее набивалась немереная куча народа, Шуманы тотчас поняли, что они дома.

С ними возможно было общаться или дома, или на улице. Под небом. Но никак не в учреждении.

Всё же мы не знали, о чем спрашивать, нет, знали, но не решались, как спросить: расскажите про ваш театр? Или – как вы делаете своих кукол? Вопросы звучали бы нелепо, потому стояло неловкое молчание, до тех пор, пока в дело не вмешался сам Питер, но весьма неожиданно. Он вдруг решил отрекомендоваться. Встал. Произнес краткую речь. Элка (наполовину русская) переводила:

– Я фермер. Я фермер и развожу овец. У меня ферма под Вермонтом, ферма и овцы.

– А… театр?

– Да, и театр.

Чтобы покончить с фермерским сюжетом, скажу сразу, что, оказавшись у них в гостях и припомнив столь озадачившее нас заявление, спрашиваю:

– Питер, а где овцы?

– Ушли куда-то.

– А сколько их?

– Одна. Нет. Было больше. Не намного, но больше, только койоты унесли.

– Как жаль!

– Почему жаль? Это природа.

Больше к проблемам фермерства мы не возвращались. Переселившись из Европы, ставшей тесной, в Америку, так и не ставшую любимой, он и Элка поначалу пробовали заняться театром в Нью-Йорке. Это оказалось совершенно не под силу. И главное, не по душе. Толкаться локтями на Бродвее? Да пошли они!

Ни с чем не считаясь, он упрямо творил своих кукол, идолообразных и первозданных, уставших вечно жить на земле: лики их были скуласты, глаза закрыты и поверхность картонных щек изрыта – так камень может быть выщерблен временем. При чем тут Бродвей?

Попутно скажу, что пока театр вот уж какое десятилетие предается мечтам о технических совершенствах, которые должны обогатить сценическое искусство, Питер Шуман твердо стоит на противоположной позиции. Ухищрения техницизма для него подозрительны, в их действенность для повышения и усиления художественного эффекта он категорически не верит. Так что когда сценографы всего мира прививают к своему искусству компьютерную графику, а то и намерены его этой самой компьютерной графикой заменить, Питер Шуман рисует широкой косматой кистью домик на куске полотна, рисует в той манере,

какая свойственна детям. Но не всем подряд детям, а только серьезным и ответственным за свои поступки. Такие серьезные и ответственные встречаются и среди взрослых.

Поскольку мое собственное техническое развитие находится в весьма отсталом состоянии, душа с повышенной чуткостью отзывается на эстетику Шумана. Но надо наконец сказать о технологии, чтобы было понятно, как он делает своих кукол и маски.

Техника изготовления неизменна и, естественно, крайне проста. Глину замешивают прямо во дворе, прямо на земле, она и есть земля. В глину вмешивают грубую солому, она потом обеспечит маске исключительно выразительную, неровную, изрытую поверхность. С глиняной формы будет снята маска – папье-маше: клейстер, старые газеты, та первобытная простота, которую мы осваивали в далеком детстве, изготовляя игрушки на елку. У Шумана в ходу всякие картонные коробки от упаковок, они тоже могут стать масками: маски-домики, надетые на плечи, маски-небоскребы, надетые на тело как жесткое платье. Если нужны животные – вот маски и балахоны из мешковины, где фломастером нанесены штрихи-шерсть.

В Нью-Йорке меня водили в студию американских мультфильмов, где из первосортных пластиков производились кукольные ящеры и мимирующие лица: мягкие, гибкие, податливые – мечта наших кукольников, – чудо, а не пластик. Нужно ли говорить, что Шуману все это даром не надо? Он видит свою задачу в ином измерении:

> Кукольное искусство – это концептуальная скульптура, дешевая, близкая к своему народному источнику, не прошенная для властей предержащих, ноги ее в грязи. Экономически она на краю общества, технически – это искусство коллажа, превращающее бумагу, тряпки и древесную стружку в кинетические, плоские или объемные тела.

Спешу уведомить – Шуман отказывается от новейших технологий не в силу культурной отсталости. Скорее напротив, он определил себя в хранители самых давних заветов древности, поверив в магию искусства с такой беззаветностью, на которую способен лишь трезвый и рациональный рассудок. Именно ярый авангардист, если он не ведает лукавства и совершенно неистов, рано или поздно заглянет в бездну, где перед ним обнажатся корни всего сущего. Именно в колыбели авангардиста может оказаться первобытный идол. С Шуманом так и случилось.

Судя по всему, ответственная миссия, которую он в себе упорно выращивал, была замечена на небесах, потому что ему досталась ферма, по американским меркам нормальная, а по-моему, просто неимоверная, с лесами, полями, а главное – с природным амфитеатром.

Не могу исключить, что высший промысел с угодьями осуществился благодаря родственникам Элки, которые им эту землю подарили, бывает же так. Кто эти таинственные дарители – не знаю. Знаю лишь, что отцом ее был американский инженер, «спец», в молодые годы успевший поработать на Магнитке, жениться на русской учительнице, вывезти ее в Америку. Учительница из Магнитогорска дожила в Америке почти до ста лет. В Магнитогорске в семидесятые возник замечательный театр кукол, и Элка наконец посетила его, с волнением предаваясь воспоминаниям детства. В отличие от американских городов, Магнитогорск ей понравился. Поверить в это невозможно.

Элка состоит неизменно в труппе театра «Хлеб и куклы», по нашему она называлась бы «завмуз». Музыке же в своих акциях Шуман придает особое значение. И речь, конечно, не только о его собственных акциях – это настолько важно для понимания его концепции театра кукол и его философии, что позволю себе привести чрезвычайно развернутую цитату, не увидев, что́ в ней возможно сократить.

> Радикализм театра кукол особо очевиден в его отношении к музыке как таковой – музыке, действующей в собственной сфере, – параллельно с визуальным театром, а не в подчинении у него. Навыки восприятия музыки, которым учит кукольный театр, диаметрально противоположны современному к ней подходу, когда музыка служит лишь подручным инструментом во время отдыха или работы и является чем-то средним между звуковым фоном и шумовым эффектом, призванным стимулировать то или иное настроение в опустошенных мозгах. Именно это несерьезное отношение, которое приводит к очевидному раздвоению (а вернее, к искажению) зрительного и звукового, и не дает музыке быть собой во имя более высокого художественного синтеза.
>
> Современный кукольный театр страдает от магнитофона не меньше, чем от пенопласта. Как и в других случаях, изобретательская деятельность, инженерный гений несут в себе вирус распада. На что только не годен разносторонне одаренный магнитофон,

под завязку начиненный чудесами. Но именно он вредит современному кукольному искусству как никто другой. Через это маленькое приспособление в мир кукол проникает вездесущий дух современной цивилизации. Он воняет и лишает наше ремесло воли к жизни. Музыке больно, как больно и миру животных. Отчего же? От бездуховного отношения к ее существу, от эксплуатации ее расой вредителей и манипуляторов, от препятствий, чинимых ее развитию и жизни. И я считаю кукольный театр одним из возможных музыкальных контекстов – местом, где музыка могла бы принести истинную пользу, не разрушая себя.

В конце концов Шуманы появились в Москве уже не как гости, а со своим театром.

Это театр подвижный, легкий на подъем и по природе своей уличный. Или, по крайней мере, бродячий. В Америке они выступали на площадях, иногда перебирались в студенческие столовые, но, по-моему, никогда не разворачивали представление в помещении театра. Кажется, только в Москве однажды дали спектакль-акцию на Таганке.

Но до того должно было состояться обязательное уличное шествие на Старом Арбате, который уже не был старым, но еще не превратился в коммерческую ярмарку. Тут понемногу утверждались уличные музыканты и не менее уличные художники. И все же появление гостей оказалось непривычным. Да иначе и быть не могло.

В ту пору шел в Москве фестиваль театров кукол, так что собрались кукольники, съехавшиеся отовсюду. Но когда все началось, и случайные прохожие, ничего о театре не знавшие, позабыв свои дела, пошли за шествием, поскольку не пойти просто невозможно.

Стояла холодная московская осень. Шуман шел впереди, приплясывая на ходулях. Борода, рубашка – мокрые совершенно. Ему предлагали куртку, но он не взял. Уличные клоуны не простужаются, поскольку немного не люди. Был он вовсе не гигант, даже скорее наоборот, в курьезном контрасте с собственным образом. На ходулях он вырос так, что заглянул в окно второго этажа, где старушка, увидев бороду над горшком с геранью, перекрестилась, а он церемонно снял шляпу. Не шляпу, конечно, а картонный цилиндр: поскольку изображал дядю Сэма в цилиндре и полосатых красно-белых штанах. Это несколько озадачивало – что он был как две капли воды схож с теми карикатурами, которые мы со времен пионерского детства

познали из популярного журнала «Крокодил». Оказалось – это не Кукрыниксы придумали дядю Сэма, он уже был придуман до них и как раз в Америке. Только наш дядя, как помню, держал в руках омерзительный предмет, называемый доллар, словом, образ врага. Враг не дремал. Наши карикатуристы не дремали тоже. Удивительно было, однако, что и Шуман его, этого богатого дядюшку, не жаловал. А главное, удивляло, что в выборе старого знака и в старомодных звуках музыки – во всем этом он не собирался искать новизны.

Следом за полосатыми штанами шел оркестр, играл истово и самозабвенно – так в былые времена у нас играли на танцплощадке захудалого городка, подражая музыке ранних американских фильмов, где яростно трудился барабан и отчаянная валторна оставляла в душе вкус меди. Но музыка Шуманова оркестра была еще и замечательно свободна. В этом был стиль. В оркестре крепко шагала Элка – мужские башмаки, очки и стрижка скобкой.

Начиналась Акция. Она была достойна практики дадаистов, если они еще где-нибудь сохранились: ее вполне можно было показывать в детском саду или самой искушенной в искусствах публике. А можно и в стойбище, где шаман учиняет публичное действо, похожее на театр и полезное для общества и природы.

Прямо на улице возле Вахтанговского театра выставили стенд с картинками. Актеры Шумана встали непринужденно и без намека на мизансцену с двух сторон: им предстояло работать античным хором. Перед картинками встал Майкл Борятински, смуглый, тонкий, непринужденный. Несмотря на относительно российскую фамилию, он знал по-русски только «здравствуйте» и «как дела». Нашли волонтера-переводчика. Майкл объявил очень громко: «Выступает театр борьбы против конца света!»

Надо сказать, что в ту пору в отечественном искусстве уже нарастали эсхатологические настроения, конец света предполагался сам собой, чернуха воспользовалась гласностью. А тут – этот, с позволения сказать, актер в помятом гаерском цилиндре, с указкой в руках, как учитель воскресной школы… Господи! Майкл же, водя указкой по картинкам, объяснял:

– Если мы построим дом, сварим суп, народим детей, если Большая Нога решит все это растоптать, мы просто не дадим свершиться такому делу.

«Хор» подтверждает: «Не дадим Большой Ноге!» Кричат разом, да так убедительно, что моментально успокаиваешься, хотя эта самая загадочная Большая Нога изображена на картинке весьма устрашающе – нет, чего-чего, а конца света Питер Шуман нипочем не допустит.

Через два года театр Шумана устроил еще одну поразительную акцию в Москве. До приезда велись долгие переговоры – Питер с жесткостью и непреклонностью выбирал место для выступления, категорически отвергая весьма престижные сценические площадки. Его требования свелись к тому, что он, и притом заочно, добился, что ему выделили пустующий ангар неподалеку от метро «Сокольники». В пространстве бесконечном и безрадостном, как пустыня, Шуман совершил акцию, именно акцию, а не спектакль: «Восстание зверя».

Потребовалась массовка. Человек восемьдесят, не меньше, сбежались охотно. Элка обучала волонтеров петь. Еще пел ансамбль Дмитрия Покровского, пел нечто славянское и совершенно древнее, теми особыми «нутряными» голосами, которым Покровский обучился в русских деревнях, а Элка про такое пение сказала: «Совсем как наши индейцы». Массовка изображала живую природу, были обезьяны и птицы, были еще люди-деревья – лес. Он находился в одном крыле павильона. Маленькая труппа театра Шумана изображала коз. Стояли картонные домики, козы выходили из домиков, каждая кричала: «Это я!» С улицы вошли динозавры (Шуман говорил – драконы). Наклонившись, они выронили из зубастых пастей маленьких кукольных ягнят. Ягнята и козлята болтались на веревках. Веревки перерезáли ножницами.

В другом конце ангара стоял длинный стол, где готовилась трапеза. Пожрут детей природы, этих козлят и ягнят. Стоят палачи в кровавых фартуках. Существа в масках и цилиндрах (сразу видно – скверные твари) готовят детенышей к ритуальному обеду. Очень страшно и тихо. Козлят ужасно жалко, но ведь зло не насытится ими, пойдет дальше, прирежет все, что есть. Солнце потухнет, и вообще – с нами со всеми что будет?

Шуман влез на ходули, красно-белые полосатые штаны уходят в потолок. С божественной вышины он трубит в два горна. Если это трубный глас Страшного суда, то не исключено, что козлята побегут прямо со стола на зеленый луг. Если это иерихонская труба, то она обязательно что-нибудь скверное и опасное – разрушит.

На многих веревках с пола под своды взмывает Бог. Утвердившись вверху, Он шевелит громадными руками – готовит объятия человечеству, наломавшему дров. Там же, наверху, висит транспарант с текстом. Текст политический, участники читают его хором. Про планету, которая и есть неукротимый зверь, и про тех, кто ее укрощает, как мы надеемся, тщетно.

Толпе зрителей все время нужно было перемещаться. Оценив

мою прыть в беганье по пустыне, зрители спрашивают как у посвященного:

– Почему в спектакле многие ничего не могут увидеть?

– Потому, – отвечаю, – что этот спектакль не для людей, а для богов.

И действительно: не было сомнений, что мы только что оказались свидетелями и участниками ритуала. Но при чем тут агитка с длинным текстом, который за пару дней до того нас попросили перевести? Текст был совершенно газетный, разоблачающий происки капитализма той самой лексикой, какая применялась к уличению капитализма в советской прессе. Мы с Людмилой Улицкой попытались придать ему некоторую литературную форму. Шуманы наши опыты отвергли. Кончилось тем, что Элка переводила сама.

Но такая агитка не просто уживалась с ритуалом: она была Шуману необходима как элемент политический и злободневный, для того чтоб непостижимым для нас образом утверждать политическую неангажированность театра, избранного им: театра кукол, о котором он сказал однажды, объединяя крайности его существования:

> Его исторические корни скрыты мраком неизвестности, но связь их с шаманством и иными таинственными и малоизученными социальными явлениями не вызывает сомнений. В своих наиболее характерных проявлениях это также искусство анархическое, подрывное и неукротимое, которое скорее можно изучить по полицейским протоколам, чем по театральным летописям. Это искусство, которое и по судьбе своей, по духу не стремится вещать от лица правительств или цивилизации, но предпочитает свое тайное и самоуничтожительное место в обществе, в какой-то мере олицетворяя его демонов, но уж никак не общественные институты.

Раз в год Шуман устраивает у себя на ферме «Домашний цирк» – очередную акцию, еще одно явление концептуального искусства. В этот день на ферму съезжаются множество зрителей, а до того множество участников. С ними Питер проводит репетиции, ему нужны массовые шествия, участники которых пройдут пусть не очень стройно, но в масках. Приезжают с детьми, собаками и палатками, все улыбаются, включая собачек, которые не лают. Не плачут дети, свалившись с маленьких ходулей. Райское место.

Зрители размещаются на пологих склонах природного

амфитеатра. Действие происходит ниже, на огромной овальной сцене, да и повсюду. Сюжет в общих чертах известен: злодеяние может произойти, но не произойдет – сработает ежегодное заклинание. Точка для этой акции выбрана безупречно, высшим силам удобно наблюдать это поучительное зрелище.

В 2000 году на Всемирной выставке в Кельне Шуману выделили отдельный павильон. Полчища кукол, сонмы масок, инсталляции: буржуи с жуткими харями, ангелы с бумажными крыльями, хищные маски демонов – все, что годами копилось на ферме в Вермонте, собранное вместе, выявило фигуру одного из самых сильных представителей современного авангарда. Модернизма, как он говорит.

Может быть, он и остался бы скульптором – если бы не ждал от модернизма гораздо большего, чем тот смог достичь со всеми своими волнами и спадами. Читая горькие слова Шумана о модернизме, отчасти понимаешь, почему он осмыслил авангардистскую скульптуру как куклу, почему ушел в кукольный театр, поверив в его абсолют.

Но можно не сомневаться, что никакой триумф в Европе, который ожидает его театр и его скульптуры, решительно ничего не изменит в образе его жизни и в его труде.

Мой невозможный друг Новацкий

Кого ни встретишь – всем, оказывается, живется плохо, одному Новацкому хорошо: ему интересно. Притом ни капли жизнерадостного идиотизима, напротив. Ворчит. Бывало, забежишь к ним, они с Любой питаются одним батоном, еще что-то было, только досталось собакам-кошкам, это святое. Он же подозревает, что дело не в клиническом отсутствии средств, но в неважном ведении хозяйства. И это не мешает каждый день наведываться в книжный магазин «Москва» – благо рукой подать, через дорогу.

Позвонит, вернувшись домой: Ириша, в магазине Зеленин [15] появился, сами понимаете, купить необходимо. Потом еще Глоба со своей астрологией, занятно! А какой альбом китайской эротики! Ну еще вот что: мы с вами сборник «Фольклор и этнография» пропустили, его даже добытчик Лейкин не видел.

Однажды Витя Назарити[16], ученик и сосед, принес мешок картошки, – денег, говорит, не принес, вы все равно на книги потратите.

Да как не потратить на книги? Такой библиотеки, как у Новацкого, пожалуй, и не встретишь. Фольклор, этнография, история и много чего еще… Ученый, право же, ученый мой друг Новацкий – хранитель, носитель, распространитель знаний. Знания свои в кубышку не прячет, сам добыл, сам и транжирит направо-налево, раздает всем желающим приобщиться к сокровищам. Он же, принимая от приходящих дары в виде колбасы-сыра или пирожного, никого еще не отпустил с пустыми мозгами. Чем-нибудь да загружал. Знания – это вам не шутки. И, прослышав о великой учености Новацкого, шли к нему ходоки со всех концов нашей безразмерной родины, а более всего кукольники.

Соберется, бывало, какой-нибудь режиссер из города N на кукольном театре «Колобок» ставить да и едет прямо к Новацкому, узнать, что́ ему для этого дела почитать надо по науке. За Новацким не залежится, читай, говорит, Проппа[17]. Либо же Шопенгауэра, а то еще можно вот это – «Боги, гробницы, ученые»[18], для «Колобка», говорит, в самый раз.

Я же навсегда запомню дивную картину: сидит наш Учитель, лекцию читает одному-единственному лицу, лицо же японское, скульптор Куми Сасаки из Токио. Только она авангардист, потому родная старина ей ни к чему. До встречи с Новацким, разумеется. Потом они спектакль сделали изумительный – «Каваримэ». Кукол, правда, не было, но были объекты, Новацкий-режиссер с ними

справился запросто. Спектакли были прелести непередаваемой. Он, к слову, если брался за режиссуру, то и был в этом деле эдаким матерым.

Мы, кажется, приближаемся к естественному вопросу – где сей великий эрудит обрел свои знания, в каких университетах.

Да ни в каких, по правде говоря. Недоброжелатели – а такие были – говорили: он в школето доучился ли? Вопрос. Но чего не знаю, того не знаю, мы поздно познакомились, и только смутные вести клубились над его загадочным прошлым. То ли он актерствовал в провинции, то ли побыл на каком-то заводе, то ли в завлиты подряжался. Словом, все смутно. Всё. Одно лишь ясно, как божий день, – нигде он не был намерен работать, если ему не интересно. Нет и нет, и скорей обратно, в свою знаменитую комнату, что в центре Москвы, в Большом Гнездниковском переулке, в свое родовое гнездо в том смысле, что он там и родился.

Мой дом – моя крепость, только двери его крепости никогда не закрывались, но все-таки башня, надежная башня, из нее мир виден в правильном ракурсе, из нее видно только то, что ему интересно.

Мой дом – моя крепостная стена, отгородившая от пошлости и скуки.

Мой дом – крепостные ворота, открытые настежь. И шли-шли-шли к нему люди, на огонек, набивались в комнату, где он царил: кого казнил, кого миловал, порой и несправедливо, да что поделаешь – хозяин-барин!

Еще там была антресоль, прославленная не меньше, чем ночлежка Гиляровского. Антресоль Новацкого – приют бездомных и командированных, брошенных мужей и счастливых любовников. Был когда-то журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» – так бы и назвать ту антресоль.

Я же еще застала Вику, маму Новацкого, легкую мышь, родившую эту гору плоти и интеллекта. Большая была та гора, мясистая и плотная. Мышь-Вика когда-то в Строгановском поучилась, остались от нее листочки, орнаменты-ландыши, наследство изящное, застенчивое и воздушное, только Новацкому очень даже пригодившееся. Про отца ничего не знаю, только известно было – это он поселился в доме, возведенном архитектором с именем не московским и загадочным Нирнзея, будто звенело чисто отмытое зеркальное стекло. Ох не для этих жильцов он строил!

После революции дом был отдан старым большевикам, собственно, большевики и назначили его себе на случай постарения. Впрочем, если у старых большевиков водились

собственные домовые, они наследство великого архитектора берегли, можно сказать, свято. Чистоту соблюдали, за лифтами строго смотрели, оберегая бархатные диваны. На зеркалах никто худого слова не писал, а латунные ручки неземной красоты почему-то дожили до перестройки.

Но Серебряный век, изгнанный со двора, как породистый пес, оказался живучим и для своей реинкарнации приглядел, конечно, комнату Новацкого-сына. Осколки разбитого вдребезги прятались по задворкам и в конце концов приходили к порогу его комнаты. Вдруг появлялась ниоткуда медная сахарница, может быть, из купеческого быта Брюсова. Вдруг возникало во всю стену зеркало – говорили, в него Книппер-Чехова смотрелась, примеряя итальянскую шляпу.

Вот только любоваться всем этим оставалось Новацкому недолго. Слепота надвигалась неумолимо.

Мы с ним затеяли журнал «Кукарт», тема – кукла в культуре. Он был редактор отдела фотографий, и куча снимков лежала перед ним. Он в них закапывал лицо, шуршал, дышал ими, трогал большими щеками. Вынырнув, заявлял: значит так, эти три никуда не годятся, одна вот эта пойдет в печать.

Если кто заставал его за этим занятием, едва не вслух вопил – да он же слеп, как крот слеп!!!

А у него, думаю, третий глаз открылся: он же и сам – сам! – еще фотографировал! В зеркало. Леша Калмыков, верный ученик, только аппарат пристраивал, а дальше он сам, кажется, на ощупь. Впрочем, не знаю. Но фотографии были, и превосходные. В зеркальной полутьме обозначался семейный портрет в интерьере, он и Любка. Из обморочного сумрака выходили два обнаженных тела, с возрастным разрывом лет в двадцать, она – костлявая и сексапильная фотомодель, он стар, грузен, тяжел. Но все-таки Адам, но все-таки Ева…

С горем пополам мы «Кукарт» все же делали. И даже ссориться успевали! А как же с ним не ссориться, если…

Но стоп, стоп! Как там говорится – или только хорошее, или ничего? Мудро, конечно, но все-таки, почему только хорошее, с какой стати?.. А вот надо же, другое застревает в горле, не достигнув и собственных зубов – не только чужих ушей. Ну застревает и ладно, я о другом.

Прежде, пока он еще видел, мы в Молдавию ездили. Дело было так. Летом я в экспедиции художником работала и в одном селе внезапно наткнулась на нелепый предмет – ведро из серебряной бумаги, в нем копна бумажных малиновых роз и ленты пестрые – и всё ни на что не похоже. То была корона царя, реквизит спектакля Маланка, играемого только раз под старый

Новый год. Вот мы и поехали среди зимы. И он фотографировал этот древний театр, величественный и бумажный, и старцев-комиков в меховых масках, будто снятых вчера со спутников Диониса.

Потом Новацкий все то грозное великолепие новогодней мишуры в ансамбле Покровского повторил, в «Царе Максимилиане», но это уже другая история.

Главное же деяние его жизни было – вертеп. Вертеп кукольный, рождественский, начисто забытый! Он и возник в Москве в 1980 году и сыгран был ансамблем Покровского сначала в Доме архитектора, потом в ВТО, но: был он собран, сделан, оклеен и украшен в той самой новацкой комнате в центре Москвы.

Стоял тот первый вертеп как обелиск или идол посреди комнаты, и недовольные кошки-собаки обходили его боком, иначе не обойдешь.

Было это в ту советскую пору, когда наши вожди, блюдя партийную честь, еще церковь не посещали с похвальным рвением. Но руководство ВТО, когда вертеп приволокли, побледнело от ужаса. Более всего пугала шестиконечная звезда. Вертеп же безнаказанно начал шествие по Москве. И тотчас стал плодиться и размножаться, и пошли, пошли по советской земле вертепы, и, как сказал один наш мыслитель, невозможно называться интеллигентным человеком, если у вас дома вертепа нет.

Это ли было главное деяние Новацкого – не знаю. У него ведь еще были деяния, да хотя бы вот это: был он непревзойденным создателем культов. Два величественных культа утверждались под его кровом: культ Питера Шумана и культ Дмитрия Покровского. Сказать, что он творчество этих кумиров высоко ценил – да это просто ничего не сказать: боготворил, возносил, я же говорю – культ насаждал.

И если кто-либо из прихожан, осаждавших его дом, не проявлял избыточного рвения в обряде обязательного поклонения двум кумирам, такой отступник изгонялся из дома навсегда. Потому что вздорности, произвола и сумасбродства отпущено было Новацкому сверх всякой меры; словом, ангелом не был, да и крылья ангельские вряд ли собирался отращивать.

Но! Он прививал своим прихожанам, как оспу, влечение к явлениям высоким и незамутненным. И чистым, черт возьми! В пределах, отведенных искусству, такого днем с огнем не сыщешь, он же находил.

Последнее место, где мы встретились, – моя лаборатория режиссеров и художников театров кукол. Он, конечно же,

принимал в наших занятиях участие самое яростное и щедрое. А в последний раз сделал доклад – ученица его Света Рыбина ему помогала, читала вслух книги, он по памяти указывал. И сделал свой доклад-завещание: говорил о том, как и когда появляется кукла в человеческой культуре. Выходило – когда дело шло к смерти.

Задолго до того мы с ним, впав в обжигающий азарт, искали, откуда произошла народная драма «Лодка». В русских деревнях ее долго играли – так вот, откуда она? Но стоит только сунуться в такой вопрос, и посыплются на твою голову подобия, аналоги из рога изобилия, называемого мировой культурой. Начали от Феллини, кончили ладьей мертвых, на которой увозят души, освободившиеся от земной суеты. На тот свет, на тот свет, оставляя до́ма страсти, пристрастия, книги, кошек-собак. Ну и Любу.

Когда он умер, верные его ученики из театра «Тень» памятник ему поставили – булыжник с дощечкой. Там его настоящая фамилия и нарисовалась – «Киппер». Киппер он был, оказывается, наш Новацкий Виктор Исаевич.

И Сергей Тараканов, кукольных дел мастер, вырезал из дерева кукольную ладью, увозящую душу нашего мэтра, нашего учителя жизни.

Этого невозможного человека.

Каких не бывает на свете, а он был.

И наша с ним работа о русском народном театре так и называлась:

«И ПЛЫВЕТ ЛОДКА».

«Роман» с Асарканом

Я тебя еще мало знала, а говорили: у нее дома разные люди бывают, даже Асаркан. Я тогда не знала, что такое «даже Асаркан», но поняла – это нечто.

Алена Закс [19]

После его смерти сложился культ, правда, в узком кругу – среди тех, кто его помнил. Хотелось бы знать, как он там к этому относится, если, конечно, мирские дела вообще кого-нибудь там интересуют. Сердится? Ворчит? Иронизирует? Нужное подчеркнуть. Тем более что как раз в организации культов он толк понимал.

Тема его знаменитых открыток берет начало в недрах биографии, он жил с дядей и тетей в Москве и посылал открытки родственникам в Польшу. Содержание было типовое: да здравствуют наши вожди, далее по списку. Поименно. Обширный список нужно было уместить на ограниченной территории открытки. Ничего хорошего такая форма детского патриотизма не обещала. Однако, полагаю, здесь и возникло представление о композиции будущих открыток.

В первом классе в конце учебного года некоторых наградили. Это произвело впечатление – связью между хорошей успеваемостью и наградой он пренебрег. Взял в доме тетки денег, приобрел мраморный чернильный прибор «Папанинцы на льдине» и объяснил, что это награда. К вечеру был разоблачен.

…Вот после этих слов у меня случилась пауза, понадобилось лезть в шкаф, вдруг выпала книжка из моего детства «Жизнь на льдине», автор – Папанин. Да не могла она сохраниться, с конца тридцатых на глаза не попадалась, и вдруг… как это понимать, Александр Наумович? Ну, не знаю.

Сейчас пишу и слышу его голос, поддаюсь ритму его речи. Его власть над нашими душами, нашими перьями, нашими машинками была огромна. Мне нравилась моя вассальная зависимость. Я любила его слушаться и слушалась с усердием прилежной ученицы. Его яростное эссе в «МК» «Петя, не бросай Машу!» изучала как образец безукоризненного стиля.

Он был суров, спуску не давал, жучил за неточности в текстах. Когда я познакомилась с Наташей Садомской, она тотчас сказала:

– О, это вы, а я так много слышала о вас от Асаркана.

Скрыв трепет, спрашиваю смиренно:

– Что же вы слышали?

– Да когда он приходит, говорит: а Ира Уварова бутерброд делает не так.

Это был единственный положительный отзыв о моем творчестве, до меня дошедший за многие годы нашего общения.

Конечно, он был одаренным ловцом душ, и все же главным его призванием было вот что. Он был непревзойденным организатором ритуалов. Думаю так: если в первобытном мире возникли фетиши, кто-то должен был не только их утверждать, но и обучить племя, как им поклоняться.

Первый общественный ритуал в новой действительности, наш собственный, а не государственный, сам собой завязался в кафе «Артистическом». На дворе стояла оттепель, хотелось где-нибудь на людях выпить чашечку кофе, как у Хемингуэя, как у Ремарка. Кафе «Артистическое» недалеко от журнала «Театр», от театра «Современник» – а это были наши точки (хотя МХАТ, между прочим, и вообще от этого кафе через дорогу, но мы его в упор не видели). Итак, в «Артистическое» лучше всего было забежать на пару минут и застрять до вечера. Там шумно, бестолково, празднично. Но для того, чтобы обозначился момент перевода хаоса в космос, нужен был какой-никакой ритуал. Тут-то и требовался Асаркан. При входе в кафе была мраморная полка, на полке нужно было складывать сахар «для Асаркана».

К чашке двойного черного кофе полагались две упаковки рафинада, одну следовало класть на полку, вечером приходил он, сахар забирал, чтобы было с чем дома чай пить. О том, как будет употреблен сей запас ночью, когда он будет писать для журнала «Театр», для «МК», он информировал прихожан – потенциальных или уже приобщенных. Истинно и азартно отправляли мы ритуал – наш, а не государственный. Частный, а не политический.

Он обучал нас всех:

как читать «Винни Пуха» в переводе Бориса Заходера;

как любить детей;

как слушать Окуджаву.

На том алфавит обрываю, поскольку на последнем пункте мне совершенно необходимо остановиться. Песни Булата витали в воздухе. И мы ловили их как бог пошлет. Асаркана это не устраивало. Нужно было ввести стихию в систему. Начиналось все с того же «Артистического», где уже наметился кое-какой ритм единения с помощью Асарканьего сахара, но…

Но вдруг позвонил Асаркан!

Вдруг. Неожиданно. Мне. (А я еще стеснялась его ужасно, он

только пару раз бывал у нас дома, в первый раз принес грозный обрывок плаката: «Берегись голых и оборванных», слово «проводов» купировано за ненадобностью, и вот – звонок):

– Мы в кафе «Артистическое», Булат пел, но не разрешили, мы едем к вам.

Боже, Булат! А в доме ничего нет, срочно вызываю подругу, сооружаем скромный ужин на четверых, Асаркан с Окуджавой, мы с Галей Кузиной… Звонок в дверь, они входят, Асаркан с Булатом, Булат с гитарой – но!

Но дверь за ними не собирается закрываться, напротив. Гостеприимно распахнувшись, она впускает толпу. Да, толпу, так бывает только во сне. Уводя Булата, Асаркан пригласил всех, кто был в кафе, следовать за ними, они и последовали. Посетители «Артистического» к вечеру порядком набрались и мгновенно распространились по квартире. Кто-то расположился поспать, кто-то открыл холодильник, выражая законное недовольство скудостью содержимого, какая-то пара закрылась в ванной, очевидно принимать душ. Не могу сказать, что кто-либо был неучтив ко мне, меня просто никто не заметил. Была у нас в квартире маленькая комната с неприметной дверью, туда и схоронились Асаркан, Булат, Галя и я. Прочие нас не хватились. Булат был раздосадован сокращением аудитории, но пел. Слушая его первый раз в жизни, я все же краем сознания тревожилась, как они все из дома уберутся, да и уберутся ли когда-нибудь. Хорошо, что Павлик с бабушкой уехали в Киев, у бабушки сердце, ну и так далее. Нет необходимости сейчас вспоминать, кто положил конец этому благородному собранию, гудящему по всей квартире, достаточно сказать: никак не Асаркан.

Думаете, я после этого вечера перестала его чтить? Нет, конечно. Тем более что он приносил в дом, да и не только в наш, много хорошего. А кто одарил моих родителей негритенком, если не он? Ну да, он у них в Киеве бывал, приводил своих гостей, однажды, когда в Киеве оказалась и я, поехал со мной в дальнее село Городжив, где полулегально играли вертепное действо, а в другой раз привез из Москвы огромный стеганый куль, содержащий внутри младенца, был младенец коричневый, лакированный, как антикварный африканский божок. Вообще-то это была девочка, Джулиана Иси, Исишка, если по-нашему. Что ж сегодня вспоминать, где он это сокровище добыл, важно, как он безошибочно младенца пристроил. Он, видевший каждого насквозь, понял мгновенно – моих родителей, маму и отчима, можно осчастливить, одарив экзотическим младенцем. О том, как повезло Исишке, говорить излишне.

Асаркан и дети – тема особая. Вот он и мой Павлик

отправляются во Львов, к Сереже Данченко[20], там они и будут находиться, пока я буду в Праге. Прага! Моя первая заграница, первая Пражская Квадриеннале, но главнее – Прага! Порог[21] – Майринк – Кафка…

– До свидания, я скоро, не скучайте.

Да кто, собственно, собирался скучать – им некогда, они оба по уши погрузились в город Львов. Возвращению обрадовались: у них был готов сценарий вождения по улицам Львова. Но я на беду была переполнена Прагой, так что мы едва не поссорились.

Потом ссора все же случилась. Вернее, так: он все-таки поссорился. Оказалось, он был не только лучшим другом на свете, ссорился он тоже лучше всех. Это было ужасно.

Я подумала – навсегда. Так оно и оказалось. То, что в новые времена наметилось кое-какое общение, не считается. И то, что Павел у него гостил там, в Америке, не считается тоже, это ведь он с Павликом помирился, а не со мной, да с Павлом они и не… Ох, надоело! Что же поделаешь, нет, так нет, – как вдруг из Чикаго пришла посылка. И ни строчки незабвенным почерком, и обратный адрес никакого отношения к нему не имел. В коробке же были глиняные индейцы.

Оказалось: сюжет. Некая скво на коленях и в шали, некий Синопа – маленький индеец прикручен к доске, некие вожди в перьях и с трубками мира, поди узнай волхвов. Рождество это, вот что.

А как он там у себя, на родине индейских племен, узнал, что меня все глубже затягивает вертеп – мистерия Рождества? Загадка. Тайна, проще говоря. В те три телефонных разговора, что у нас случились, до трубки мира дело не дошло.

Сочельник. Вынимаю из корзины коллекцию всемирных вертепчиков. Расставив Асарканьих индейцев, мой правнук Мирон вступает в диалог с волхвами, один говорит ему:

– О, бледнолицый брат мой…

Нас разлучило при жизни на столько лет, что весть о смерти ничего не изменила.

* * *

Если когда-нибудь появится какая-то немыслимая энциклопедия, например «Московская интеллигенция 1960-х–1970-х годов», и если меня там упомянут – уверяю, будет так: «Уварова И. П. Роман с Асарканом (см. Асаркан А. Н.)».

Слух об этом мало того что в те времена гулял по Москве, он и сейчас оживился в мемуарах. И кто-нибудь нет-нет да и может

спросить: «Было?» Сегодня просто смешно отвечать «нет». Но кто-то сообщил, что воспоминания Нэлки Воронель его разозлили. Только поэтому полвека спустя пишу сегодня:

– Нет.

И это чистая правда.

Дело же было в том, что его чуть что забирали в психушку, и мне казалось – если он будет у нас с Павликом, его не тронут. Мои соображения были чистой глупостью, но его не трогали, когда он жил у нас, и я была спокойна. Кроме того, мне нравилось, что у него завязывалась дружба с моим маленьким сыном.

Я увидела его в первый раз в «Артистическом» в окружении детей. Это были большие дети. Их общение было как над пропастью во ржи, и они все мне понравились чрезвычайно. Но конечно, о том, чтобы к ним подойти, не могло быть и речи…

Недавно Леня Невлер вдруг вспомнил:

– Мы с Асарканом шли, я говорил про какой-то твой текст в журнале «Театр», а он сказал: «Нужно читать все, что пишет Ира Уварова».

Самое смешное – я поверила.

Милый мой Вертман

Юна – это и есть мой Вертман. Так мы и привыкли с Павликом о ней говорить: Вертман пришел, Вертман ушел. А почему, позвольте спросить. Мужского в ней не было ничего (ум не в счет, он и с женщиной случается). Так просто называли, может, даже с претензией на юмор, хотя тоже мне – юмор. Одним словом, наш собственный Вертман – и точка.

…Писать о тебе – живьем с себя скальп сдирать, хоть и прошло столько лет без тебя. Столько лет, что можно подолгу не вспоминать, а кожица новая нарастает на месте шрама. Только тонкая.

«Милый мой Вертман» – так начинались мои письма к тебе, моей заветной подруге, когда нас разносило куда попало: то в Кишинев, в Кинешму или в Свердловск, или еще куда-нибудь, где актеры пьют за кулисами водку, а режиссеры патриотической ориентации готовы написать на нас донос, хотя – Бог свидетель – в ту пору мы такого еще не заслужили.

Еле теплился коптящий фитиль советской постылой сцены, давно помирающей и вечно живой, а радости нет от наших театральных командировок, обсуждений чужих спектаклей и собственных постановок. Мрак и печаль… И вдруг – вот дела! Откуда ни возьмись, сверкнет живой глаз Театра со слезою в фонаре. И слеза не бутафорская, а рабочие сцены скажут, тебе: Давыдовна, не боись, соберем декорацию честь по чести, только чтобы твоя премьера была не под нашу получку.

Итак, Милый мой Вертман…

Только писать письмо я уже не стану. Какой дурак сегодня не знает, что почта туда не доходит, не должна доходить, не положено. Уж мы-то ведь помним, что расстояние между «помнить и вспомнить, други» – это и есть тот отрезок вечности в размере «десять лет без права переписки». И я не спрашиваю, ну, как там у вас вообще. Придет время – и мне покажут, в сущности, уже показали немного да вернули, высадили как зайца на полпути. Вот что я скажу тебе строго между нами (Господи, да кому ж ты можешь проболтаться, хотела б я знать, а все наша допотопная конспирация, будь она не ладна), путь туда – сама знаешь каков, но и путь обратно не легче.

Давай о другом.

Нам выпало время бурных переживаний – душевных и сердечных. И общественных, конечно, это был такой постоянный множитель – или постоянный раздражитель? – нет, все-таки

множитель, поскольку все происходящее множилось на тревоги. Источником тревог были «они», а мы были «мы», так сказать, потребители тревог. По разные стороны баррикад, как говорится, хотя какие тогда могли быть баррикады?

Время было другое – время отчаянных споров и горячих ссор, каких после в исторической перспективе уже не было и быть не могло. И время пылких примирений тоже. Нужно было затыкать подушкой черный рот телефона (или не рот, а ухо?). И запрещенные книги под подушкой же шуршали папиросными листами самиздата, белесыми, призрачными, да они и были призраками книг. И нужно было испытывать тревожную потребность делать что-нибудь «такое», от чего исходил острый запах риска, и мечтать отучиться от страха. Встречи в метро с невинным выражением физиономий, запрещенные книги за пазухой и проницательные вычисления, кто стукач. Среди нас?!! Быть такого не может. И все-таки – кто?

Мы еще что-то делали и помимо, спешили на работу, писали какие-то очерки, звонили в редакции в надежде на гонорарную мелочь, стояли в очередях, бежали в гости и сами гостей своих поили чаем, а то и молдавским вином и, конечно, щедро угощали спором.

Только знаешь, как я чаще всего вижу нас с тобой? Будто мы две мартышки в одной клетке. И то мы мчимся как угорелые, умирая от хохота, и, разлетевшись по углам, с размаху впадаем в тоску, откуда ровно два шага до ссоры и ровно один шаг до слез, хоть слез наших – кот наплакал. И вот уже от нежности, от жалости мы гладим друг друга по каштановым макушкам. Передышка. Вдох-выдох. И снова помчались.

Замечу мимоходом, угодить в клетку тогда ничего не стоило. Но мы не угодили.

Еще мы беспардонно хвастались друг другом.

Каждому желающему слушать она сообщала доверительно про черепах, которые у меня получались из скорлупок грецкого ореха, они ее восхищали, хотя всякий нерадивый подросток подобную черепаху сотворит, если захочет.

Я же хвасталась материей куда более тонкой, да и сейчас считаю, что только моя Юнка одна на всем белом свете сумела нечаянно и между прочим выучить таблицу Менделеева. Таблица висела в классе деревенской школы, в деревне Жижица, куда Юна Давидовна Вертман была по окончании Московского пединститута выслана отбывать срок педпрактики в наказание за круглые пятерки. Она же мечтала стать режиссером, учиться дальше, но пока не вышло, вышла сельская учительница.

И она обучала деревенских ребят русскому языку и

литературе, а висевшая на бревенчатой стене таблица элементов сама вошла в ее зеркальную память да так там и осталась, и она все удивлялась, зачем такое излишество, когда химия ей была ни к чему. К чему была литература. И театр, конечно, театр. Но мне сейчас кажется, что в той постылой деревне судьба показала ей кончик нити Ариадны, только в ту пору мы не могли догадаться, куда покатится клубок. А он покатился мимо большелобого химика с его таблицей – в светелку дочери Любови Дмитриевны Менделеевой, а далее к супругу ее, Александру Блоку – куда ж еще? Их до самой смерти та нить связала, и было на нити два узла на память, два элемента, их отравившие, в менделеевскую таблицу не включенные. Имя им – Любовь и Горе.

Беда какая. Между тем клубок все катился, петляя и запутывая новые судьбы, и много лет прошло, прежде чем он достиг книги о Блоке, которую Толя пришел писать к Юне, в ее маленькую каюту на Хорошевском шоссе.

Конец трагедии. Так называлась книга Анатолия Якобсона об Александре Блоке. На самом деле у трагедии оказалось много концов. Впрочем, как и нитей в клубке Ариадны. Нить имела фабричный брак. Узлов оказалось порядочно.

Ужасно долго живу без тебя, а уж сколько воды утекло за это время изо всех наших скверных кранов – это только ты и смогла бы сосчитать, тебе ведь задачу из арифметики решить – как нечего делать. Как там, в учебнике, было про трубы. Про воду и про то, что все течет и ничего не меняется. Только не в том дело, что вода утекает непонятно куда, а скорее всего в Лету, в том дело, что нам, временно оставшимся, приносит она иногда оттуда бутылку с вестью. И так это между прочим, и так это невзначай, и записка маячит сквозь зеленое стекло.

Весть.

Среди новых знакомых у меня появился маг. Диктую по буквам – Моисей-Анна-Георг. Только не говори, ради бога, «и все ты врешь», не выношу, да еще и тон какой! Так терпеливый педагог уличает изобретательного лгуна, объяснившего, что домашнее сочинение на этот раз съел щенок.

Юнка, ору я в отчаянии, у тебя воображение управдома. Ну честное слово – маг, да еще и профессиональный. Видит всякое, чего прочим не положено видеть. Просто в то наше время этого еще не было, хотя начинались экстрасенсы, хотя в детстве и даже в юности про все такое было много читано в старых книгах, прежде чем нас снесло в сторону позитивизма, да поэзия, слава богу, спасла. Меня, по крайней мере.

Словом, мага зовут Миша, молод настолько, чтоб ничего не знать про наше с тобой время, и, соответственно, про нас про

всех. Мы ему Гекуба по имени История. Пьем чай, разговариваем о разном, взяли с полки книжку лагерных писем Юлика. Это когда ему все с воли писали, а он всем отвечал – *привет миха как там маринка тошка получит по шее когда выйду гелескул гений а юна умница* и так далее, городу и миру, книга получилась преогромная, мы листаем, а там полно фотографий, вдруг маг мой делает стойку:

– Какое лицо интересное!

Плеснула волна, бутылка с вестью маячит сквозь толщу книги. А это, Вертман, ты, как раз твоя фотография. Я чуть не закричала: да как вы догадались?!! – и вовремя прикусила дурацкий вопрос, на то и профессионал, чтоб увидеть, какое у тебя лицо и еще что-то, что открылось ему. Кем ты была вообще и для тысячи лиц в частности.

Вот пишу, изо всех сил стараясь быть объективной, да всякий человек старается быть объективным, особенно когда его о том никто не просит, и уж тем более никто не просит меня, а я зачем-то хочу сказать, как оно было. Почему мне это кажется важным?

В ту пору мы все были тоненькие, талию измеряли, вобрав живот до позвоночника, по молодой глупости не догадываясь, что линия судьбы в сантиметрах не измеряется. А у нее тело. Не фигура, а тело. Грузное, от Рубенса, затянуто в синий кремпленовый костюмчик, ножки тонкие и пучок на затылке. Кто, спрашивается, тогда такие пучки носил и куда смотрела мода.

Мода смотрела мимо.

Но вот что главное.

Была она прекрасна, и это сущая правда. Дивная кожа цвета молочного младенца, руки, пышные от плеча, завершались тонко выточенными пальчиками. Кабы не ужасная близорукость! Эти невозможные очки искажали как могли и форму глаза, и глубину зрачка, и даже ресницы терпели урон. А ведь уже существовали на свете линзы, и уже можно было их добиться и тогда… И тогда вся жизнь изменится, и мир увидит, какие у нее на самом деле потрясающие глаза.

Она отбыла на несколько дней в Киев и вернулась в линзах. Плотная щеточка ресниц развевалась на воле.

– Юна, что с вами? – спросил Катин-Ярцев в коридоре «Щуки»[22]. – Что у вас с лицом.

Да, что-то пропало. Взгляд оказался беззащитным, взгляд казался недобрым – это у нее-то! Нет, просто отмечен был высокой бедой – любовью, и нельзя так, нельзя, это прятать необходимо.

Мы отменили линзы. Мы вернули родные очки. Глупости, ничего они не портили, и все стало на свои места по причине

необъяснимой и загадочной, и не оставалось никакой возможности понять, в чем дело. Так природа захотела, а природа не фраер, как говорится, чем-нибудь да потешит, как-нибудь да утешит, и никакой Юнкиной красоты они, эти толстые стекла, не портили и не собирались портить. Просто над нею властвовал великий закон по имени Гротеск, соединяющий несоединимое. Проплясав на неправильностях, мог ткнуть вас носом в прелесть особого свойства. Гротеск – как у Гофмана. Гротеск – как у Гоголя. Гротеск – это смех там, где отведено место печали, а в ней был запас смеха, он стоял в горле, у нее было серебряное горлышко, из него смех всегда готов был брызнуть, а в сумочке у нее чистенький, аккуратно сложенный платочек, чтоб смех удерживать, а я люблю ее смешить.

– Петрушка ты! – говорила она мне, пряча платочек в сумку.

И я смешила ее до тех самых пор, пока она не сказала шепотом: не смеши меня.

Она лежала в палате, я на пороге. Встревоженный Вася уже несколько раз звонил – она в больнице и чтобы я шла к ней на Пироговку, я же все бегала в роддом, в Кунцево, к Наташе.

– Юнка, я не могла раньше, потому что у нас родилась новая девочка.

И она сказала шепотом и серьезно: не смеши меня, мне нельзя смеяться.

Смеяться нельзя. Но удивляться ведь можно, и она не переставала удивляться тому, как оно все случилось. Ну, бок побаливал, у кого-то из друзей был знакомый врач в рентгенкабинете, и она пошла, положив в сумку бесценный по тем временам презент, коробку конфет, кем-то Юне поднесенную.

У вас все в порядке, сказала рентгелогиня.

Это Юну ошеломило.

То, что случилось дальше, скорее всего, было спровоцировано той самой коробкой, не жалко, но, с другой стороны, удобно ли вручать такой гонорар времен застоя ни за что.

Она сказала: ну, посмотрите еще что-нибудь. Хоть повыше, что ли. И рентген посмотрел повыше…

В палату ее забрали тут же, в легких была жидкость. Более всего ее удивляло – как же так, шла по Пироговке, заглянула по дороге в угловой магазин, там было мясо такое хорошее для борща и денег в кошельке как раз, и коробку успела-таки вручить. В тот день все так легко и славно складывалось на четко обозначенном пятачке налаженного бытия (Юна плюс Вася плюс Женя) и вот – койка, казенная простыня. Весь лад рассыпался. Начинался оползень. Концы с концами не сходились, а мы еще не знали, что один конец тянулся в сторону могилы.

У нас родилась Ксюша, моя вторая по счету внучка.

А ты начинала уходить…

И что же, это все, что хранилось в бутылке, добытой магом из глубин памяти?

Ничуть не бывало. Там еще оказалась Золушкина босоножка, и это я расскажу. Тем более что после я с помощью Юлика написала в клетчатой тетрадке «Золушку», пьесу для маленькой Машки, театр у нас был домашний: «Да обронила туфельку, хрустальную притом. – А что же дальше было? – Я расскажу потом».

Так вот, это как раз про Юнку. Тем более что наша пьеса появилась отчасти благодаря одному ее приключению.

С легкой руки зэка по имени Юлий Даниэль с воли в места заключения вдруг горохом посыпались письма. Ему все писали, и другим стали писать тоже. Горох дробно стучал о тюремные решетки, а начальству что делать, если, оказалось, писать можно. Вот и пишут с воли, и ладно бы жены там или дочери, а то и вовсе незнакомые, здрасте, мол, и большой привет, хотя вы меня и не знаете. И всё намеки, всё условности, всё ребусы, а не разгадает цензор, в чем там дело, так и по шее получить не долго.

Именно в те самые времена Юна и решила написать генералу Григоренко. Как и все мы, она его подвигом восхищалась, чтила и сострадала, да только как об этом напишешь незнакомому герою? Потому написан был рассказ из жизни, реалистический, короче говоря.

Вот он, сюжет, честный, невинный и забавный, и, читая его у себя в застенке, генерал улыбнется, а что, собственно, еще нужно.

Была у Юны пара маленьких босоножек, плетенных из чего-то упаковочного, но и немного благородного и с каблучком. И вот она пишет, как на Малой Бронной нужно было ей втиснуться в толпу троллейбуса № 10, а давка при посадке – сами знаете, и туфелька слетела на мостовую, а троллейбус двинулся. И она вылезла на Маяковке и пошла, прихрамывая назад, а навстречу ей прекрасный принц, спрашивает:

– Твоя, что ли? – И если принц смахивал на алкаша, то это чисто внешне, а в галантности ему отказать было нельзя, туфлю вручил и пошел опохмеляться на свои собственные, с принцессы не стребовав ни копейки, и даже предложил помощь в обувании. Или, как сказано у классика:

По воле королевы,
По воле короля
Позвольте вам примерить
Башмак из хрусталя.

Счастливый финал. Аплодисменты. Если не учитывать несчастного цензора. Что за шифр и что именно там зашифровано? Цензор взялся вычеркивать подозрительное. Из остатков текста генерал Григоренко, кажется, так и не сумел понять, о чем речь, – огрызков текста оставалась самая малость.

То было самая эффектная история в репертуаре Юны. Только будем откровенны, без усердия цензора история сильно бы проиграла.

Реализму до абсурда далеко, я всегда тебе это говорила.

А ты была уверена в необходимости служить реалистическим богам на сцене и свято чтила МХАТ, и чтила заветы Марии Осиповны Кнебель. И кстати, как помню, при поступлении в театральный институт, одержимая мечтой о режиссуре, ты именно от нее получила поддержку, забавную и трогательную. Именно она спросила при всем честном народе на вступительных экзаменах, заслоняя тебя от прочих экзаменаторов:

– Скажите, а на сцене без перевоплощения можно?

– А без перевоплощения нельзя, – ответила ты голосом примерной отличницы.

Если выразить подтекст диалога по-русски, еврейка помогала еврейке, так ты объясняла, смеясь.

Но шутки в сторону, вот что я думаю о твоей режиссуре.

Как-то Рудницкий написал о Шагале: в нем не оказалось театральной крови. Я уверена в том, что в твоей группе крови содержалась литература. Для тебя сначала было слово, и слово было твой Бог. И слово было от Бога. Слово твоего Бога звучало не из туч, а из книги. Притом из книги гениальной и особого свойства. А потому, если совсем серьезно, я бы не дала тебе ставить Белоснежек с их гномами, а также и Пеппи с их длинными чулками, это и другие могли поставить не хуже.

Тебе бы ставить Гоголя, именно Гоголя, никого не знаю другого, кто бы так умел Гоголя прочитать. Так прочитать, чтоб отчаянно жалко стало всех, и Агафью Тихоновну, и Яичницу, и даже сваху. А Кочкарева? Его, представьте себе, тоже жалко. Было это в Кишиневе, ты ставила «Женитьбу» в юном театре «Лучафэрул», в нашем с тобой театре, а труппа там состояла из самых красивых актеров на свете. Они были прекрасны и такими оставались на сцене, хотя в «Женитьбе» ты как-то сумела отучить их от романтической шиллеровской повадки, наставляла прикидываться грузными жабами, мышами на тонких лапках, «пузырями земли». Фантомы, несчастные уродцы, они вылезали из Гофмана и в Гоголе поселялись. Обживались в российской

действительности, набирались нелепостей, глупели. И становились несчастными. В спектакле опрятные химеры и аккуратные гиперболы росли как грибы. Но грибы деликатные, незнакомые с разнузданностью.

– Юна, с какого этажа у вас прыгает Подколесин? Бельэтаж? Юна, вы дура, он прыгнул со второго этажа и разбился.

Я вмешивалась:

– Нет! Тогда уж с пятого, чтобы наверняка.

Так мы переговаривались с Аркадием Белинковым, нашим другом. Аркадий был скептичен, беспощаден и старомодно изящен. Мы с Наташей остались, Аркадия и Юны нет. Но как отчетливо я увидела их обоих, Аркадия и Юну, когда гостила у Наташи в Монтерее! Я разбирала лагерные записи Белинкова, а голоса звучали в тихом американском доме, голоса мертвых.

Юна: Да почему вы пишете, что «Малолетний Витушишников», что «Восковая персона» есть капитуляция Тынянова, сдача советской власти, на милость победителя?

Аркадий (рассеянно): Разве?

И странен, еще как странен был упрек Юны. Не по существу, а по отношению к Белинкову. Это невероятно, поскольку все мы стоим по стойке «смирно» перед вторым изданием «Юрия Тынянова» (боже ты мой, какая книга!), и Юна, конечно, тоже, и вообще Белинков для нас на ту пору был «наше все», так что повелел бы он ей прыгнуть с пятого этажа… А тут – критика!

Его судьба нас обожгла пребольно. Лагерь, зэк с безнадежно больным сердцем, писал украдкой в школьной тетрадке карандашом, почерком – меньше бисера, прятал в стеклянные банки, закапывал в землю, в окаянную лагерную почву – как бутылку в море: с вестью. Весть досталась начальству, его снова судили. Я в Монтерее читаю поблекшие письмена. Вспоминаю, как мы с ним тогда в Москве дружили, Юна и я, и как мы обе дружбой этой гордились.

С друзьями ей вообще всегда везло.

Вот с художниками на театре не везло, со мной в том числе.

В «Женитьбе» она сказала Коле Андронаки: ты мне сделай что-нибудь такое шагалистое, и Коля изобразил на заднике летучих евреев.

Удача с оформлением была только в Ермоловском, так получилось: ей предложили малую сцену, и она оказалась удачной. Под прямым углом сходились два узких коридора со зрителями, но угол был мал, неудобен, неуютен, лучше не придумать для «Записок сумасшедшего», и Калягин был на этом пятачке так трогателен, так он был доверчив к призрачным счастливым поворотам жизни, так убедителен, что только и жди,

вот-вот выйдут собачки да и начнут строчить письма, каллиграфическим собачьим почерком.

Был он не то чтобы психом, но человеком без кожи, как-то на кафкианский манер. Потому особо тревожился по поводу изношенного сукна, оно ему было как хитинный покров жука. В попорченной скорлупе насекомого трепыхалась уязвимая душа испанского короля или алжирского бея и бедного чиновника.

После премьеры поехали ко мне, соорудили ужин на скорую руку. Калягин был, помню, взволнован, как умел, выражал нежную признательность своему режиссеру. После «Записок сумасшедшего» у него открылось новое дыхание и выпала карта театральной удачи.

В новые времена удача обернулась дорогой, что ведет в те самые коридоры, где начальство справляет вечный и мрачный праздник власти. На празднике этом в минувшие времена тебе не нашлось места, и сейчас не нашлось бы, и, по-моему, это удача, да и в том ли дело, Юнка?

Вот Гоголь-то, Гоголь выпал еще только один раз – «Женитьба» в Кишиневе. И больше никогда. Это было большим бедствием, выпадали отдельные постановки: что придется и где придется.

Однажды пришлось в Чебоксарах ставить что-то из Гольдони, Юна меня упросила делать костюмы, да знаю я эти бедные театры, денег никаких, есть гардероб для Островского, пользоваться можно, перекроить – никогда. На репетиции актеры ужасно махали руками, пришлось шить им муфты, чтоб затруднить махание. Мужчинам тоже муфты шили. Муфты актерам нравились.

В гостинице Юна штопала колготки дочери Жени в свободный час, в одиночестве отправляя ритуал семейного уюта (Юна плюс Вася плюс Женя), пока к ней не подселили девицу из удаленного северного города, приехавшую в Чебоксары на заработки. Характер своего промысла девушка и не думала скрывать, в чем, я полагаю, было больше простодушия, чем цинизма. И она договорилась с Юной о расписании, когда ей удобно было принимать клиентов, и чтобы Юна на это время нашла себе дополнительное занятие в театре или шла бы со своей штопкой в гости. Уезжая, гостиничная соседка оставила ценный подарок – пачку цейлонского чая и фунтик конфет, свидетельство безмерной щедрости клиентов.

Замечание в скобках: тут что мне любопытно, пыталась ли моя Юнка наставить случайную соседку на путь нравственного совершенства и духовного развития или приняла непривычное для нее общество как вполне возможное и допустимое в этом

мире, и Чернышевского читать не рекомендовала. Скобка закрыта.

Ну и к чему мне вспомнилась это девица? Потому только, что была она из Архангельска. Пробил час, и мы с Юной помчались именно в тот город, на какую-то конференцию, а на самом деле для слез, и ночью у себя в номере оплакали трагическую гибель Тошки [23]. Архангельский узел сюжета.

Сюжет петляет в глубинах моей памяти, она у меня не знакома с хронологией, зато крайне чувствительна к настроениям.

В жизни моей подруги было много бедствий, облом со Щукинским училищем, – боже, как она его любила! – облом с диссертацией, с Михаилом Чеховым – как она его чтила! Облом мечтаний о собственном театре – как она этого хотела! Как у Юры Любимова, не больше и не меньше. Но и меньшего не выпало.

Выпало цирковое училище.

– Значит, раньше клоуны говорили: «Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом», а теперь будут говорить: «Гул затих. Я вышел на подмостки».

Так пытаюсь унять ее печаль, рисую смешные картинки – Вертман на манеже, Вертман на слоне, Вертман на проволоке… Печаль не унималась, хуже зубной боли.

Цирк оказался для нее великим несчастьем. Но как же так, почему магическая, древняя сила цирка оказалась чужда ей и даже враждебна! Ах, Юнка, Юнка, как можно возненавидеть цирк, ты что, забыла и Мейерхольда, и Карнэ?

– Да что мне икарийские игры – там цель одна, сделать на воробьиный шаг больше, чем делают другие. И ногами. Они ногами мыслят. Мир тонет в бездуховности, а я преступно в это вовлечена, и – можно я уйду? Там обо мне в программке написали «Юный Мориц». Ну, можно?

Но что за дикость, у меня спрашивать разрешения, хотя нет, не у меня. Это она Его Величество Цирк через посредника запрашивала.

И, подав заявление об уходе, так и сказала директору циркового училища, изрядно его озадачив:

– Мир гибнет в бездуховности, и я отказываюсь принимать в этом участие.

Кто еще с подобной декларацией покидал государственную службу!

«Отказываюсь жить в бедламе нелюдей», не в обиду цирку будь сказано.

Но как же я до сих пор не сказала о главном про нее? *Духовность* – вот главное, без этого она была как рыба на суше.

Это слово для нее заключало в себе абсолют. Она дочке Жене прививала духовность, как прививки против кори, и не только музыку, стихи и все такое, но еще и чтобы была во всем совершенна, включая ровные зубки, и усилия стоматолога сюда входили тоже. Чтобы потом все мужчины умирали, так им и надо. И это – тоже в прейскуранте духовности: эстетическое совершенство, жажда абсолютной гармонии.

А еще была у нее манера «брать человека на поруки». Начинала бурно воспитывать, водила в интеллигентные гости, осыпала книжками и самиздатом, помню озадаченность застенчивого молдаванина, нашего друга, когда она окунула его с головой в омут диссидентской культуры. А он, хоть и был родом из молдавской деревни, сам выучил языки, читал Спинозу и Канта и русское учение Юны принимал вежливо, но до конца не понял.

Зато другие понимали.

Ее бесчисленные ученики, ее юные подруги, ее почитатели, общаясь с ней, становились выше, хоть на сантиметр, а выше. Может быть, кто-нибудь и лучше становился – не знаю. Ее призванием стало – просветитель.

Просветитель от диссидентства, распространитель журнала «Москва» с текстом «Мастера и Маргариты», распространитель «Поэмы без героя», когда ее еще в печати не было, распространитель машинописной листовки Толи Якобсона по поводу демонстрации на Красной площади – советские танки в Праге, наш общий великий позор…

Но – и это в скобках – тотчас была ее спешная поездка в Таллинн, конспиративная встреча с нашей эстонской подругой в кафе, чтение листовки. Листовка же, похоже, осталась забытой на столике. А что с нас взять, нас же с детства не обучали на подпольщиков, к тому, что нам выпало, мы не были готовы. Хотя готовы были ко всему. Скобка закрыта.

Мне казалось, да какое там казалось, так оно и было, ее томила жажда креста, и она сама себя клеймила за то, что клеймо каторжника не прожгло ее нежную кожу. Чувство личной вины перед теми, кто сидел, было нам свойственно, ею же владело с отчаянной силой. Власть, швырявшая людей на тот свет, была нам ненавистна.

Юна, я думаю, каждого спешила обучить на нового человека, готовила к той свободной и счастливой грядущей жизни всех, кто попадал в поле ее притяжения, свято храня верность утопии, свернувшейся во чреве русской культуры, эта верность у нее была сродни религиозному чувству.

И мы не сразу догадались, что смерть потихоньку натачивает

свою косу о порог квартиры на улице Халтурина.

Ну да, больна, очень больна, очень! Но медицина, но народные средства! А так, чтобы конец, нет, нет и нет, и Бог не допустит. Потому что есть семейный очаг, потому что есть муж, есть ребенок, и ребенок мал; еще и потому, что впереди жизнь, когда хорошо будет, не сомневайся, и она не сомневалась. И вдруг оказывалось, ее там не будет, да быть того не может, потому что не может быть никогда.

И она объявила смерти газават. Она смерть ненавидела, и о том, чтобы с неизбежностью смириться, речи быть не могло. Она была в гневе, она со смертью ругалась, она ее прогоняла. Ей угрожали эти «десять лет без права переписки», это советское вранье, придуманное для подлого сокрытия истины. Истина же была в том, что это означало расстрел, убийство, уход в вечность. Не ты умерла – смерть тебя убила.

Но почему, но зачем у меня получился перекос в сторону беды. И справедливо ли так окончить про тебя.

Давай про другое.

У нас нынче принято открывать новые звезды, хоть и маленькие, и называть их именами людей, о которых забывать не хочется или просто нельзя забывать. Говорят, есть такие астрономы в Крыму, вот они и называют.

Я так долго живу на свете, что имею право на частичное впадание в детство, а потому – вот поеду в Крым, в ту самую обсерваторию и спрошу, нет ли у них какой-нибудь звезды, свободной от имени?

…Помнишь, как в экспедиции в Молдавии, когда все вокруг уже спали, ты шепотом пересказывала мне пьесу, которую я в ту пору не знала?

Та пьеса называлась «Безымянная звезда»[24].

«А когда вы будете говорить о Даниэле?»

Лечу в Новосибирск, за окнами зима. Ровно на один день, что за нелепость, право! Кто же летит на один день в такой город, где такой театр, такой музей! Но – одна лекция, тема: Рождество. Тема моя, и не потому, что модная, а потому что любимая.

Великий ночной холод стоял в ту ночь во Вселенной, когда вдруг замигала звезда Рождества, так мигает лампочка в темноте незнакомого коридора. Вот тогда хорошо бы успеть смастерить кукольный домик – приют того самого Семейства. Об этом, конечно, в лекции так прямо не скажешь, но иносказательно, может, получится. Например, милый человек Франциск из Ассизи первый понял, что, сообщая о той Святой ночи, следует сооружать наглядное пособие, декорацию, собственно говоря. Расскажу, раскачивая тему тишайшего сарая, вплоть до великолепия Пастернаковой «Рождественской звезды». Тут умерить волнение, стихи читать спокойно.

Ну и вот он, Новосибирск.

О лекции сообщала рукописная афиша. Народу было не так чтобы много. Больше студенты, еще, судя по виду и возрасту, профессура. Женщина руководящего вида меня представила, что-то сказав про тему. В том ключе, в каком прежнее клубное руководство обещало лекцию «Есть ли жизнь на Марсе». Словом, начинаю, не ведая, какая фраза получится первой. Вроде пошло: ночь, волхвы. Звезда эта, про нее знал Галилей, а также писали китайские хро…

Вот тут и случилось. Два профессора вида благородного и достойного поднялись и не таясь двинулись к выходу. Как можно демонстративно покинуть аудиторию, если… Да нет! Так вообще нельзя. Тем более профессуре.

Такого не было никогда. Перехватило дыхание. Провал? Вдруг кто-то голосом деликатным и тонким робко останавливает поток:

– Простите, а когда вы будете говорить о Даниэле?

Вспышка: ну конечно, бог ты мой, да ведь Академгородок рядом, а в афише рукописной было: «Уварова-Даниэль»! Вот уцелевшая профессура и отозвалась на ключевое слово диссидентских настроений. Ведь Академгородок – это не только наука, это горячее сочувствие Синявскому – Даниэлю, это Лариса Богораз, она тут работала, это письма в защиту, это… Это наши люди. Они знали Юлия и были, наверное, озадачены – вертеп какой-то, младенцы, звезды…

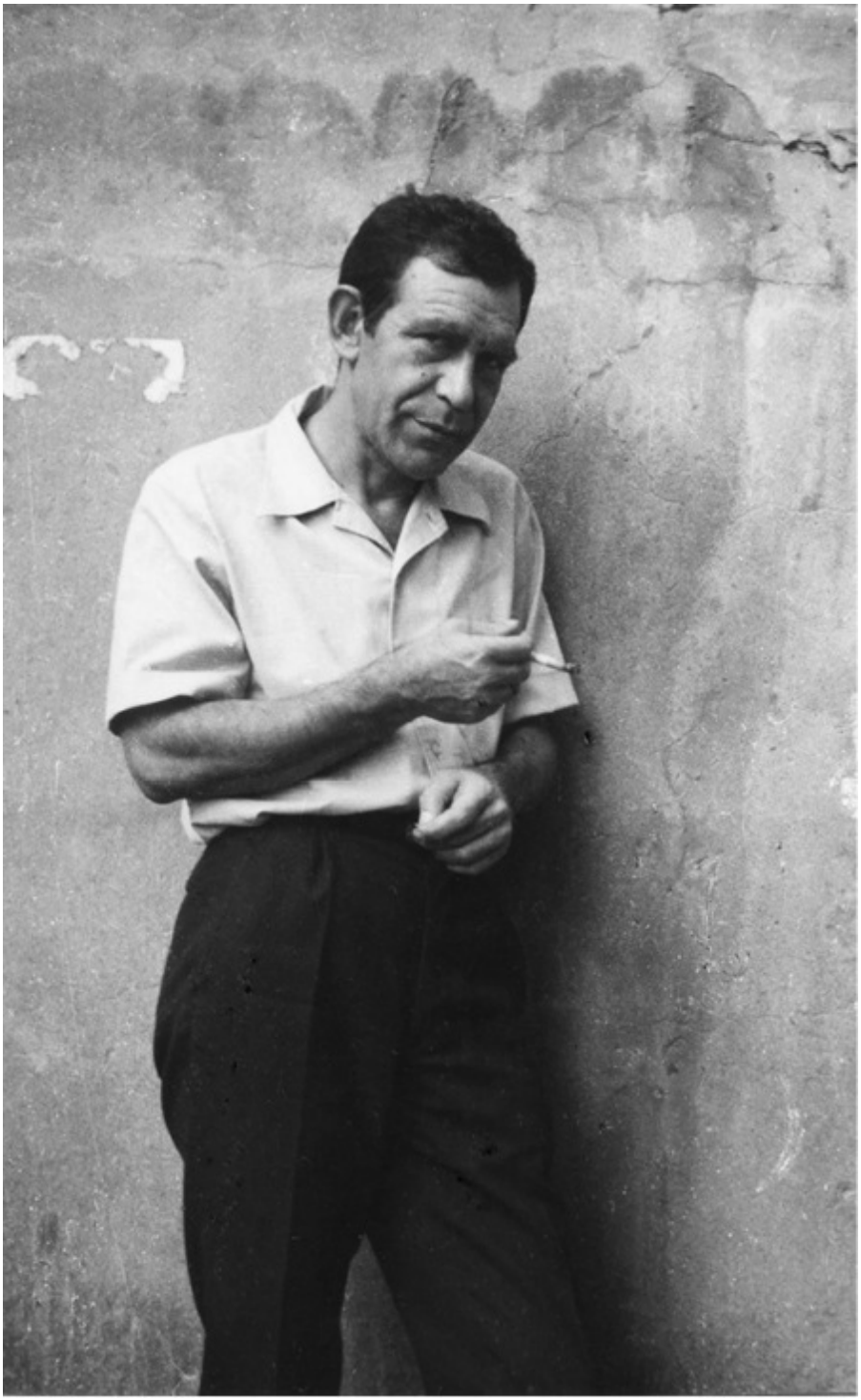
Когда кончилась моя пытка, в просторечии именуемая

лекцией, мы сели в углу неуютной аудитории – постаревшие ученые женщины из Академгородка и я, их сверстница. Что-то воскрешали в памяти, кого-то поминали из тех, кто ушел навсегда в другой мир. И про Юлия. Так тепло было…

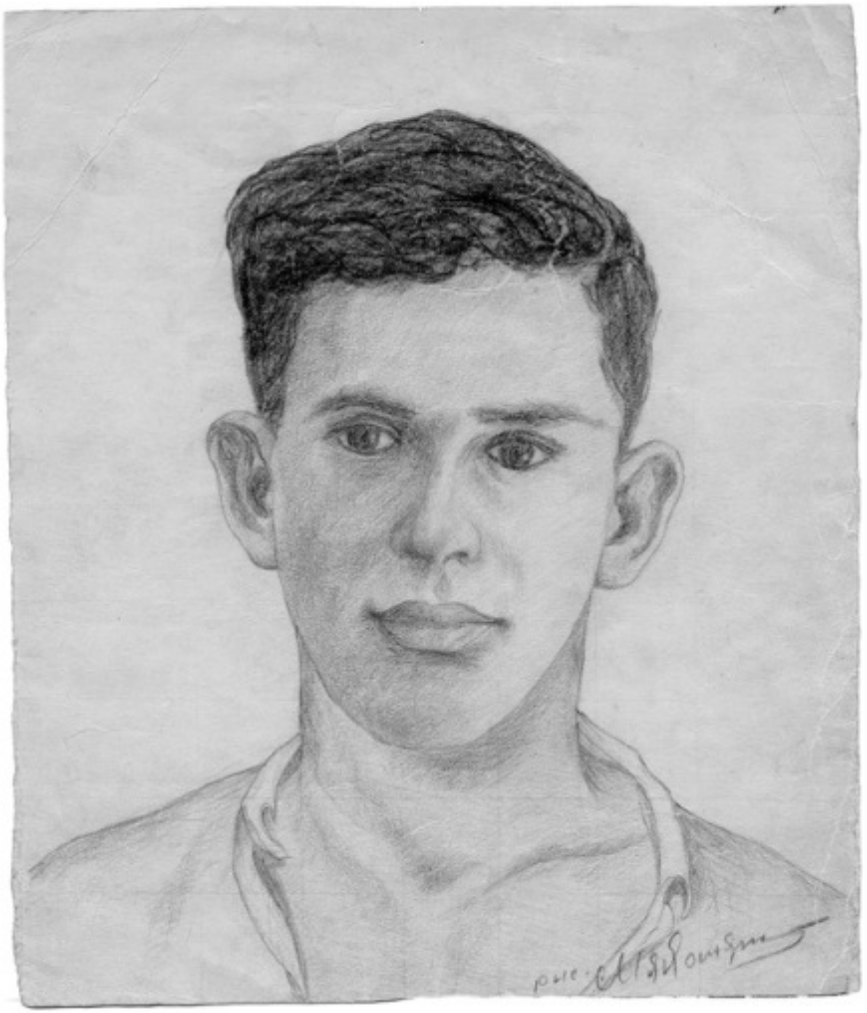
«Я не верующий и не атеист, – вспомнились его слова. – Я просто ничего не знаю и поэтому допускаю любые варианты. Но с детства у меня вызывала недоумение формула тургеневского Базарова: „Умру – ничего не будет, лопух вырастет“.

Как же так – „ничего не будет“? Лопух-то вырастет! Отличный, большой лопух, который сорвет простоволосая женщина и покроет им голову от солнца».

Фотографии



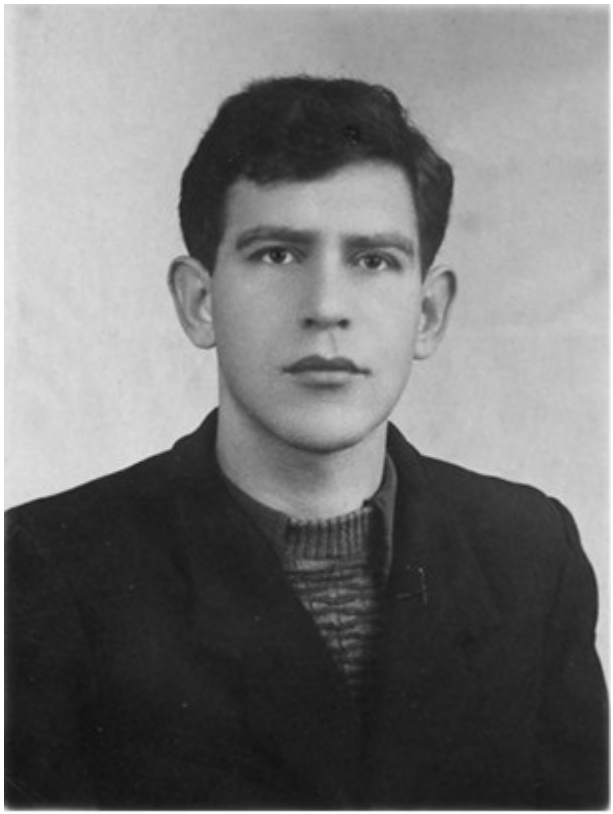
Во дворе на Новопесчаной. *Начало 1970-х*



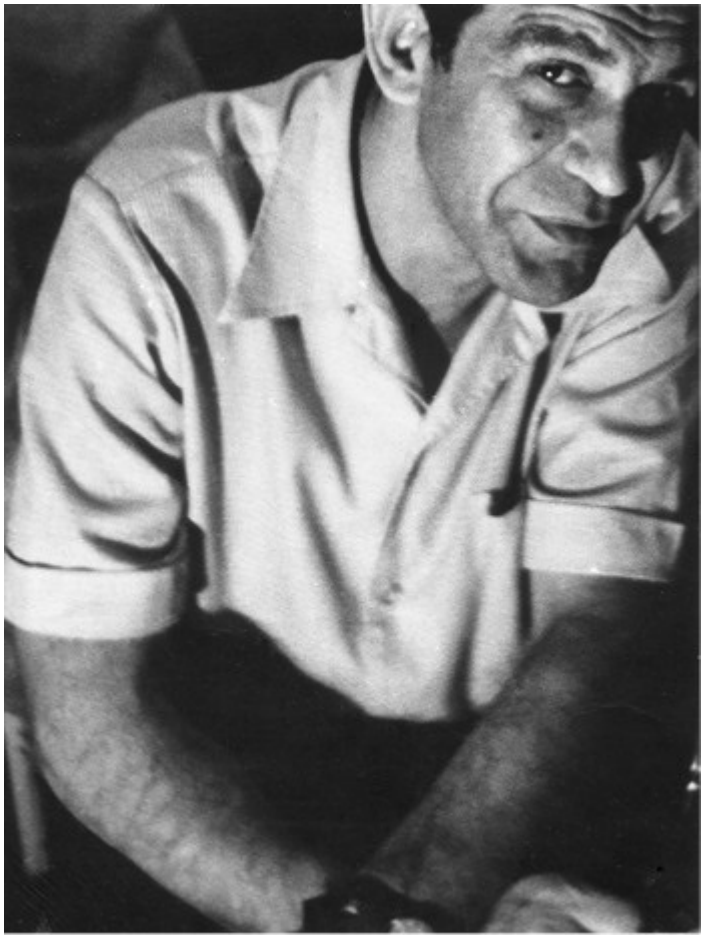
Юлий. Карандашный рисунок. Автор не установлен

Марк Даниэль с сыном Даней, погибшим в 1941 годув ополчении под Киевом. *Середина 1930-х*

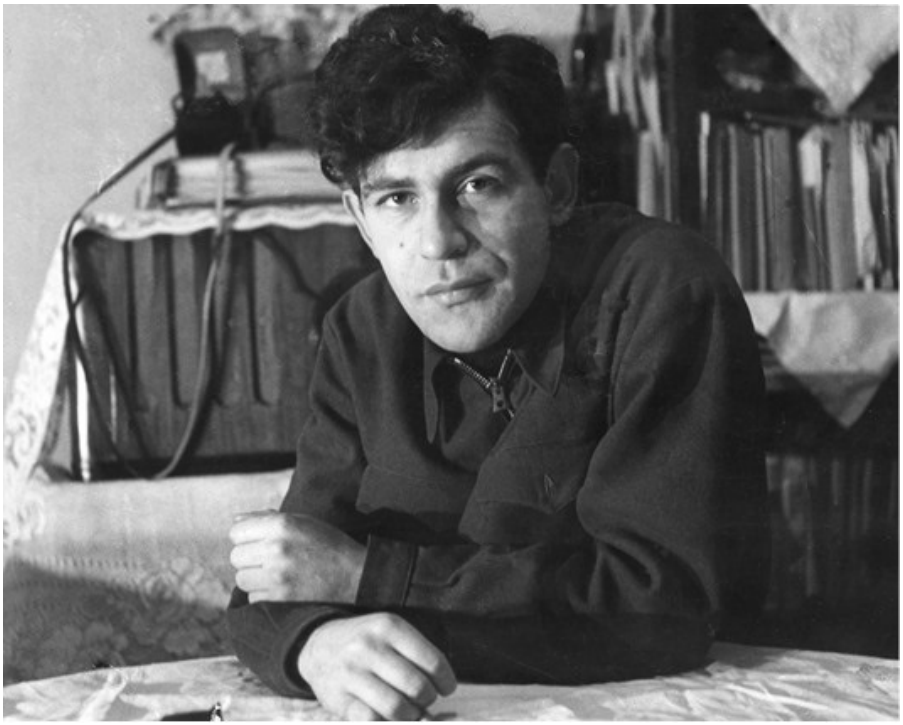
Юлий с матерью. *Начало 1950-х*



После войны



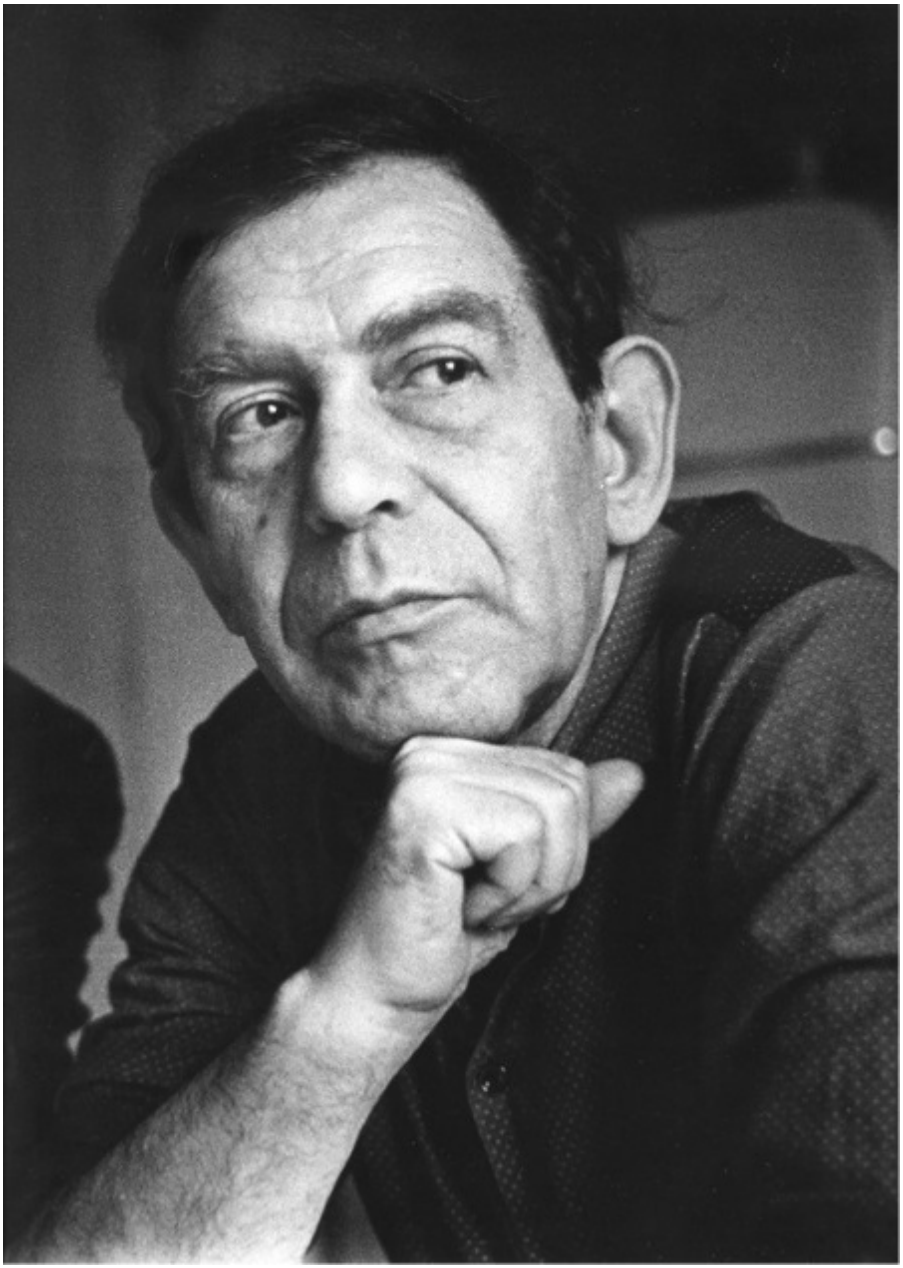
1970-e



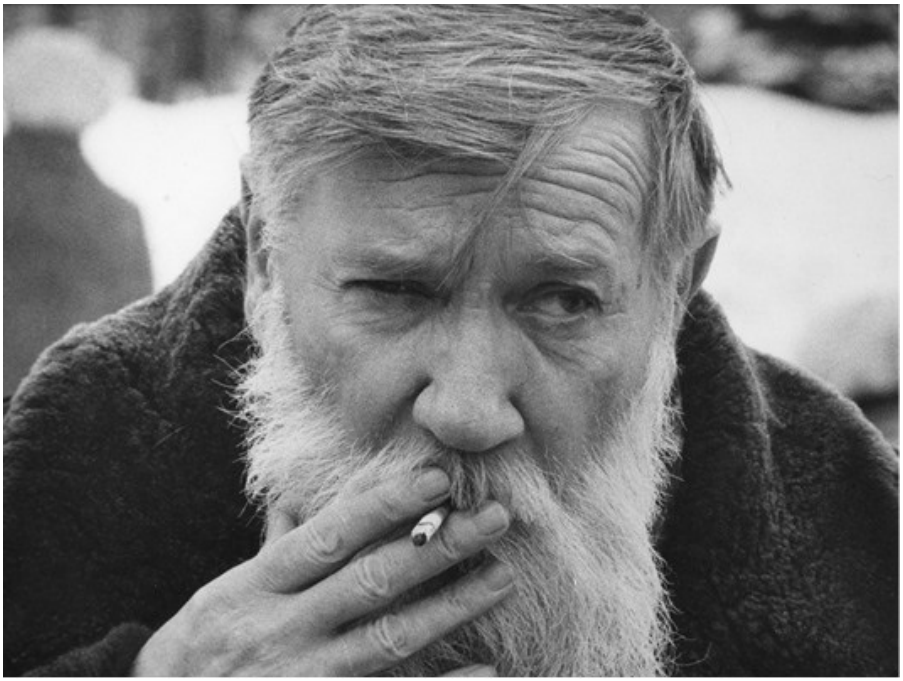
Начало 1950-х

У Герчуков. *Слева направо верхний ряд:* Лариса Богораз, Марина Дормшлак, Мария Розанова, Андрей Синявский. *Внизу:* Юлий Даниэль, Юрий Герчук. *Начало 1960-х*

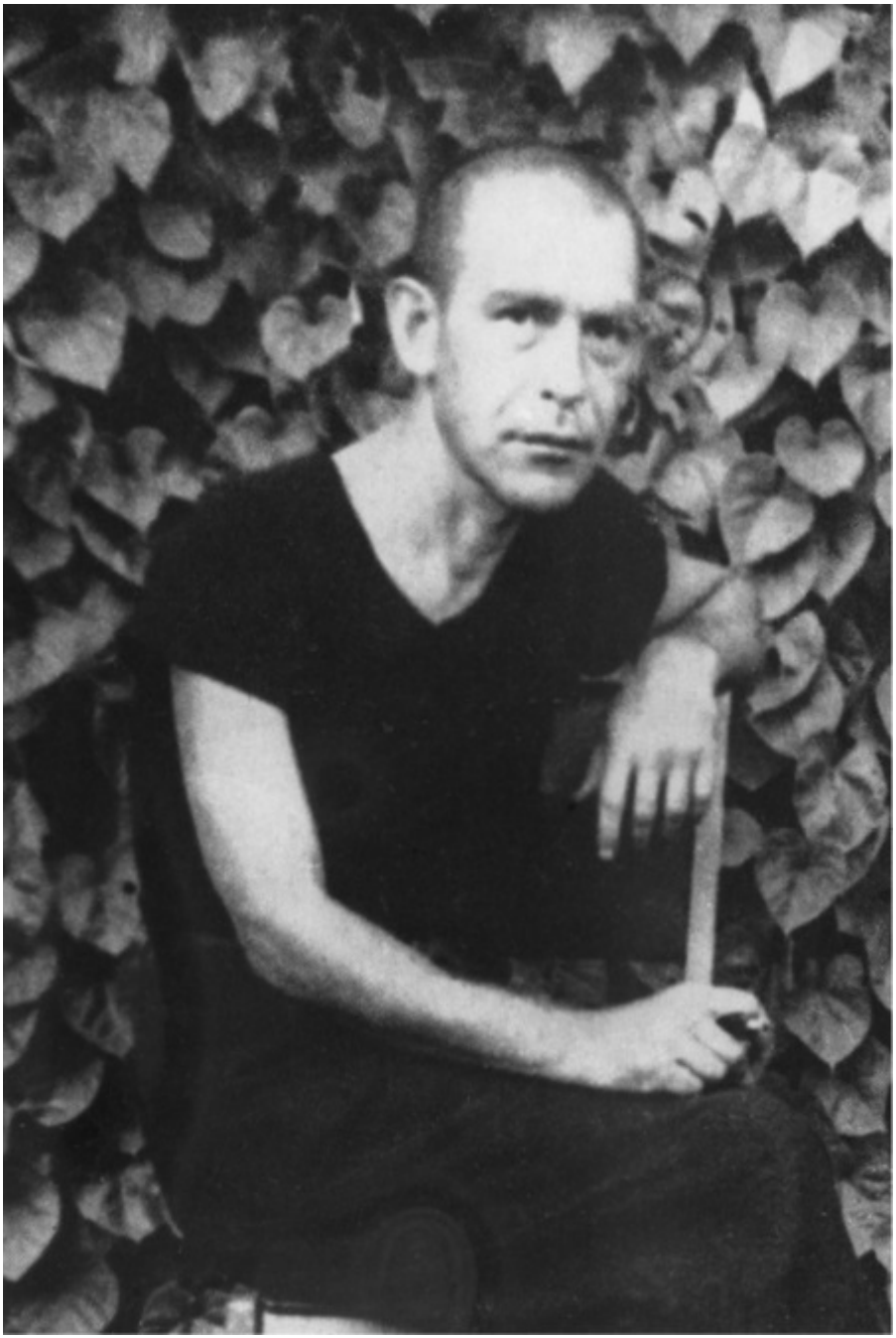
В ссылке. Лариса Богораз с сыном Александром Даниэлем. *Чуна, 1969*



Юлий Даниэль. *Конец 1970-х*



Андрей Синявский. *Конец 1970-х*



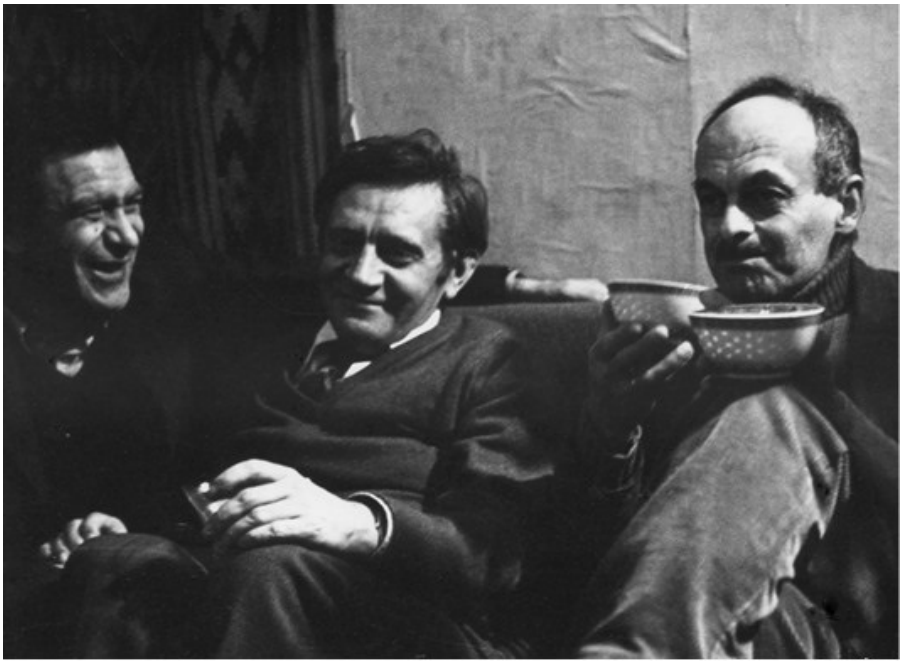
В лагере. *Явас, 1966*

Ирина Уварова. Из лагерной фотоколлекции Даниэля

Наш портрет работы Бориса Биргера. *1974*

Милый мой Вертман

С Наумом Гребневым. *Середина 1970-х*



С Фазилем Искандером и Булатом Окуджавой. *Вторая половина 1970-х*

С Борисом Биргером. *1970-е*

Печатная машинка Даниэля

notes

Примечания

1

Соня – Соня Смык-Крутинская. Мы прожили вместе одной семьей шесть лет – я и Павлик, потом я-Павлик-Соня. Потом и Юлий. И такая у нас получилась чудесная семья, и Соне тут отводилось очень значимое место. Мы с Юлием, кажется, и правда если не считали ее своей дочкой, то думали о ней именно так. Она получила театроведческое образование и уже не была с нами, но не перестала быть родной. После смерти Юлия она эмигрировала в Канаду, куда ее позвали друзья детства, все они были из Львова. В Канаде ее поджидало счастье – она вышла замуж за чудесного человека, а мы с ней остались связанными узами крепче, чем родство. Наверное, нужно было все-таки начинать с того, что была она и есть красавица.

2

Павлик – Павел Юрьевич Уваров – мой сын, историк-медиевист, профессор.

З

Санька – Александр Даниэль, сын Юлия; историк, правозащитник, руководитель исследовательской программы «История инакомыслия в СССР»; член правления общества «Мемориал».

4

См. о нем на с. 144–159 наст. изд.

5

Жаровцева Ирина Николаевна – в былые годы была вице-президентом советской секции Международного союза кукольников. Нас с ней связывала общая работа.

6

Лева Шубин – Лев Алексеевич Шубин (1928–1983), известный литературовед, один из первых исследователей творчества Андрея Платонова.

7

Мила Ермилова – литературовед, жена В. Кожинова и дочь критика Ермилова, снискавшего дурную славу, к сожалению, заслуженную.

8

Воронели – Александр и Нинель, в прошлом очень близкие друзья Юлия и Лары, и мои тоже. Он – известный талантливый физик, она – ярко одаренная поэтесса. Из-за близости к Ю. Даниэлю Саша подвергся гонениям; в конце концов, они эмигрировали.

9

Наташа – Наталья Садомская (1927–2013), историк, этнограф и антрополог, подруга Юлия, а потом и моя до самой ее смерти. Была женой Бориса Шрагина, известного диссидента. Они вынуждены были эмигрировать в США. После его смерти Наталья вернулась в Москву. В эмиграции Б. Шрагин написал большую литературоведческую работу с анализом прозы Юлия.

10

О Юло Соостере см. с. 213–228 наст. изд

11

Майя Улановская – переводчик, литератор; участник диссидентского движения

12

Гроф Станислав (род. 1931) – один из основателей трансперсональной психологии, создатель уникального метода самопознания.

13

См. о нем с. 287–306 наст. изд.

14

Роберт Янг (1915–1986) – американский писатель, прозаик-фантаст.

15

Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) – известный этнограф, автор книги «Восточнославянская этнография», изданной в 1991 г. (в переводе с немецкого языка).

16

Виктор Назарити – мастер деревянных Буратин, создатель масок и вертепных театриков. Называет себя «Папой Карло», а также учеником В. Новацкого и моим.

17

Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970) – ученый, фольклорист, получивший мировое признание.

18

Книга пользовавшаяся популярностью К. Кера.

19

Алена Закс – наша подруга, дочь Елены Михайловны Закс, переводчицы. Все они, включая бабушку, очень любили Юлия. Из лагеря он писал им отдельные письма, а с Аленой я дружна до сих пор. Она хорошо пишет, была корреспондентом журнала «ДИ». Ныне работает в комитете «Гражданское содействие».

20

Данченко Сергей Владимирович (1928–2001) – украинский режиссер Драматического театра во Львове, потом Театра им. Г. М. Зеньковецкой, затем Львовского ТЮЗа. В Киеве возглавил Украинский драматический театр им. Ивана Франко. С Асарканом он был очень дружен.

21

Порог – одно из названий Праги.

22

«Щука» – так у нас в обиходе называлось Училище им. Бориса Щукина при Государственном академическои театре им. Евгения Вахтангова.

23

Тошка – Анатолий Якобсон (1935–1978) – литератор, литературовед, поэт, переводчик, педагог, историк. Активный участник правозащитного движения, был редактором «Хроники текущих событий. Близкий друг Юлия, ему посвятивший свою книгу о Блоке «Конец трагедии». «Не случайно посвящение, – пишет он, предваряя книгу, – в немалой мере благодаря ему я смолоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил вслух, и пока ничто не могло отучить меня от этой привычки (однако на будущее не загадываю)». Вместе с женой Майей Улановской был вынужден эмигрировать в Израиль, жизнь его оборвалась трагически.

24

Пьеса Михая Себастиана, по которой в 1978 г. Михаил Козаков снял художественный фильм.